Война Миров

№ 4.
ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ"

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1932 ГОД

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — освещает на своих страницах все новейшие достижения научной мысли в свете марксистско-ленинской теории.

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — уделяет особое внимание успехам и достижениям советской науки в деле социалистического строительства СССР.

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — ставит своей задачей быть пособием по самообразованию в области естествознания, техники, общественных наук, литературы и искусства.

Журнал выходит под общей редакцией профессора С. ТЫМЯНСКОГО.

В 1932 ГОДУ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТ:

24 книги журнала в многокрасочной обложке, богато иллюстрированные рисунками, фото-репродукциями и чертежами.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПЕРВАЯ СЕРИЯ — 24 книги „Научно-популярной библиотеки“.
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ — 12 книг „Природные богатства СССР“, 12 книг „Индустриально-технических таблиц“ и 12 плакатов по вопросам „Мироздания“.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

„Вестник знания“ — без прил.: 12 мес. — 6 р., 6 мес. — 3 р. 20 к., 3 мес. — 1 р. 70 к.
„Вестник знания“ — с приложением первой серии: 12 мес. — 10 руб., 6 мес. — 5 руб. 20 коп., 3 мес. — 2 р. 70 к.
„Вестник знания“ — с прил. третьей серии: 12 мес. — 19 р. 30 к., 6 мес. — 9 р. 75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

по всему СССР во всех почтово-телеграфных отделениях, у сельских и городских письмоносцев, у организаторов подписки на фабриках и заводах и на транспорте.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, Ленинград, 2, Торговый пер., 3.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ **СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“**

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 г. на журнал

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Боевой орган интернационального воспитания ленинского комсомола

Орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ

— Выходит два раза в месяц —

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

РАССКАЗЫВАЕТ
о борьбе революционной молодежи в странах капитала.

ОСВЕЩАЕТ
проблемы КИМ и его секций

ОРИЕНТИРУЕТ
комсомольца в основных вопросах международной политики.

ВЕДЕТ
борьбу за марксистско-ленинское воспитание мирового комсомола.

ПОКАЗЫВАЕТ
организации противника изнутри, разоблачает их тактику и работу.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

НУЖЕН
каждому интернациональн. работнику,
каждому активисту-комсомольцу,
каждому вузовцу и рабфаковцу,
каждому вожатому пионер-отряда,
каждому комсомольцу,
каждому ударнику-комсомольцу.

В журнале принимают участие работники ИККИМ, ЦК ВЛКСМ, комсомольские писатели и журналисты и интернациональный актив комсомола.

В каждом номере от 60 до 120 иллюстраций.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 мес. — 50 к., на 3 мес. — 1 р. 50 к., на 6 мес. — 3 р., на 12 мес. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почт. отделениях, письмоносцами и ячейковыми уполн. по печати.

Борьба Миров

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, проспект 25 Октября, д. 3.

№ 4

АПРЕЛЬ 1932 г.

ВЫХОДИТ
один раз в месяц

ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

Они защищают интересы рабочих 2

В. Шенштедт
Вылазка в село Лангендорф 3

Д. Лебедев
В Мадриде горели монастыри 12

Г. Мишкевич и Л. Леров
Дизель КИМ 17

Н. Константинов
По ту сторону 21

А. Розен
Сестра штрейкбрехера 24

Д. Славентантор
Наша ротация, наш линотип 27

Одна шестая — пять шестых 34

Сделано в СССР 42

С. М.
Чарльз Дарвин 47

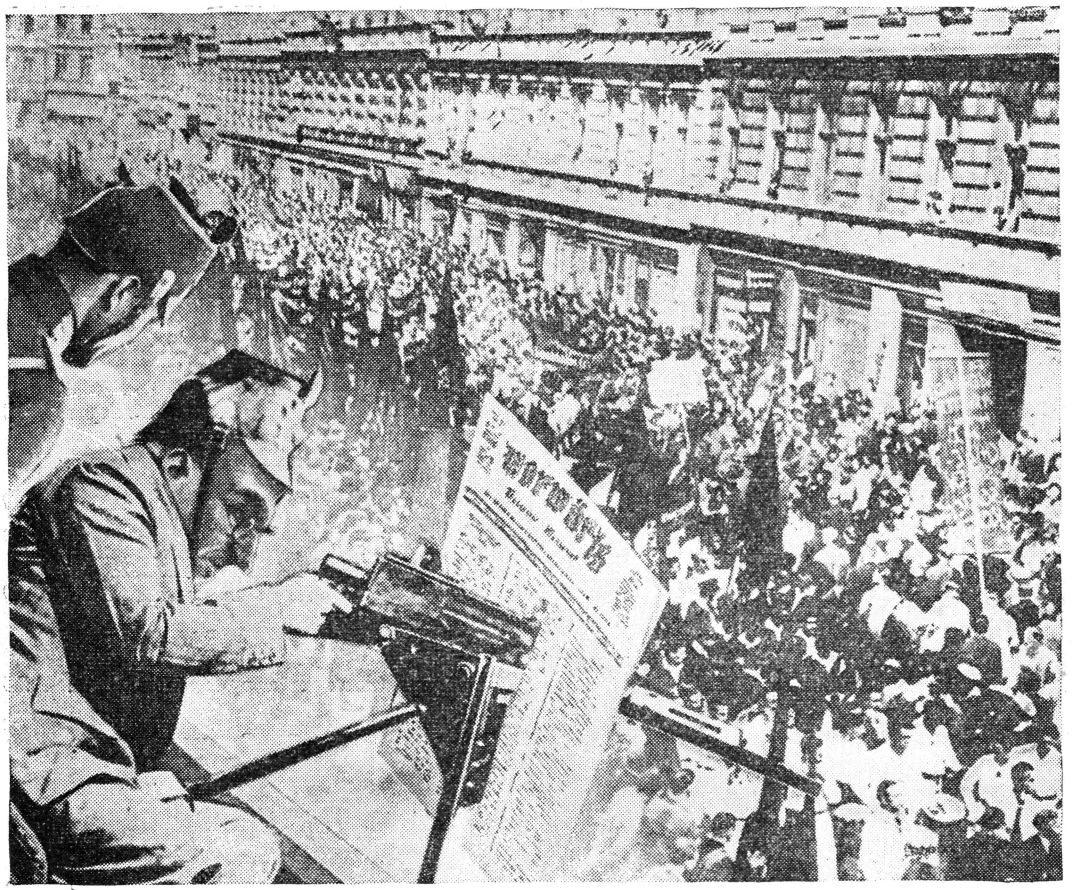
М. Брамм
Вступление 50

С. Марвич
Акционерное общество „Блау-Рейн“ 56

На обложке фотомонтаж немецкого революционного художника Дж. Хартфильда из журнала „AIZ“: „Так они разговаривают с рабочими массами“.

На первом плане социал-демократ Носке

„ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧИХ“



Социал-демократическая партия выродилась в лакейский придаток к капиталистическому режиму. В Германии Приходя к власти, социал-демократы неизменно пытаются поправлять государственные финансы за счет последних крох рабочих Германии. Рабочие, руководимые германской компартией, отвечают на это контратаками.

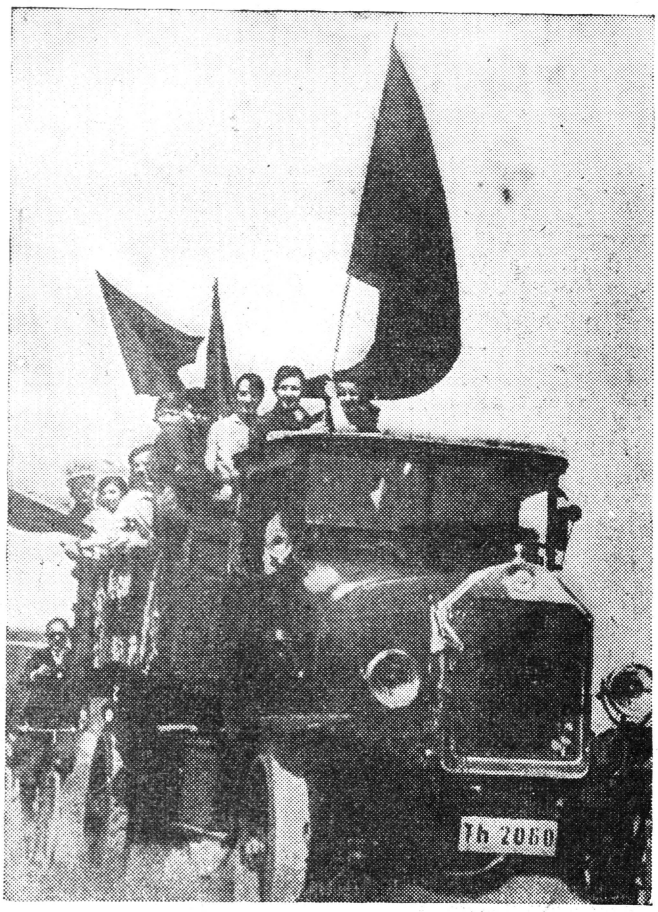
Улицы Берлина все чаще и чаще превращаются в арену борьбы двух миров. Полиция и фашисты пытаются удержать улицы в своих руках. Они громят рабочие организации, расстреливают демонстрации безработных заливают кровью рабочих камни мостовых. Социал-фашисты всех мастей и оттенков деятельно помогают в этом полиции.

На нашем снимке — монтаж, остро вскрывающий предательскую роль социал-фашистов. Социал-демократическая газета „Форвертс“, используемая в этом монтаже в качестве щита для пулеметчика, расстреливающего демонстрацию рабочих, очень верно определяет политику социал-демократии.

ВАЛЬТЕР ШЕНШТЕДТ

рисунки И. ЕЦ

На снимке — агит-автомобиль берлинских комсомольцев едущих в деревню



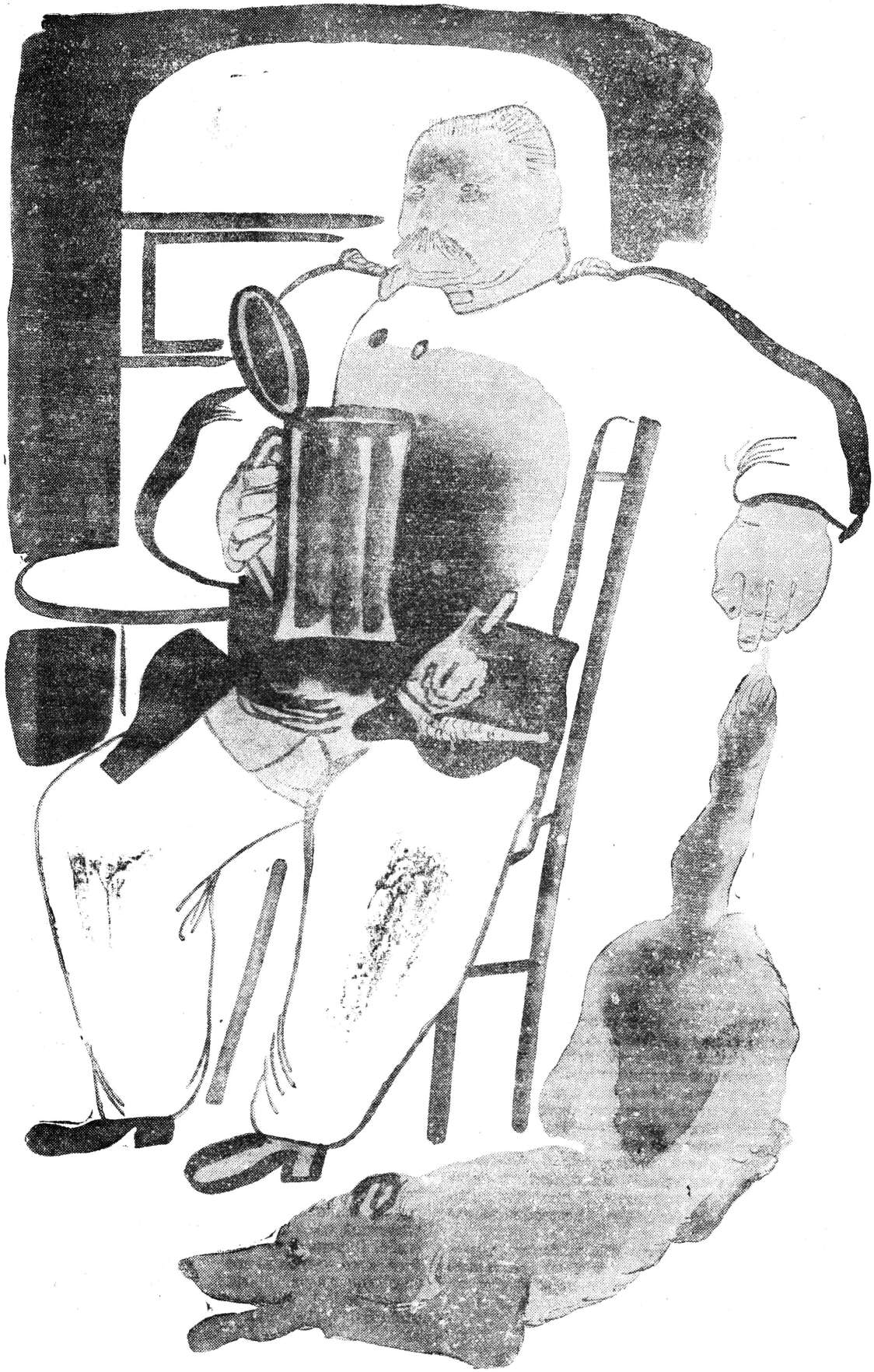
ВЫЛАЗКА В СЕЛО ЛАНГЕНДОРФ

Вальтер Шенштедт — молодой рабочий, выросший в рабочем районе Берлина на мятежной красной улице — Ностицштрассе, о которой он рассказывает в своем романе. Шенштедт — сын рабочего, солдата, который, вернувшись с восточного фронта, стал „красным“ и членом независимой социалистической партии Германии. Кончив школу, он вступает в коммунистический союз молодежи. Вся жизнь — борьба, голод, безработица. Пишет очерки из жизни рабочей молодежи. Сейчас „Молодая гвардия“ выпускает его роман „Мы боремся“. В нем он рассказывает о борьбе германского комсомола.

Недавно Вальтер Шенштедт приехал в СССР, пробыл в Москве и занялся серьезным изучением Днепростроя, о котором он собирается написать книгу.

Группы „Крейцберг“ и „Ностицштрассе отправили в село Лангендорф ударную бригаду — по три товарища от каждой группы. Все они были безработные. Они выехали в четверг поездом, чтобы с местными товарищами составить фабричную газету для прядильной фабрики „Ютес“, организовать собрание рабочей молодежи и сделать нужные приготовления для воскресной агитации. Незадолго до того, при фашистском нападении, были арестованы трое лангендорфских товарищей и приговорены к продолжительному тюремному заключению; руководитель молодежной группы, как „главарь“, получил восемь месяцев.

Работа группы ухудшилась. Человек, вокруг которого все группировались, сидел в тюрьме, группа лишилась своего „двигателя“; коммунистический союз молодежи проявлял себя весьма слабо. Партия тоже была слаба, она насчитывала мало членов на предприятиях, и хотя РПО (Революционная профсоюзная оппозиция) на прядильной фабрике и получила при последних выборах фабричных комитетов большинство



Жандарм сидел в гостинице „Корона“ и пил пиво.

голосов, фабричных ячеек все же не существовало.

В воскресенье Лангендорф оживился, все село ждало берлинцев. Ударная бригада уже с шести часов вечера засела в придорожной канаве, в трех километрах от села. Жандарм еще ничего не подозревал, у него был весьма безобидный и добродушный вид с его топорщившимися усами; он сидел в гостинице „Корона" и пил пиво. Рядом с ним примостилась его овчарка; время от времени она кидала на него сонные взгляды и облизывалась. На лестнице валялся пьяный и орал. Над Рабочим домом висели редкие красные флаги, они надувались, когда веял легкий ветерок. Лошади ржали в конюшне, коровы мычали, их доили и они тяжело ложились на свежую солому. Несколько крестьян, с трубками, криво торчащими в уголках рта, неторопливо возвращались с полевых работ. Мирный вечер расстилался над селом. Из труб прямо, как свеча, подымался сизый дым, где-то квакали лягушки, батрак точил косу...

К гаражу на Кайзер-Фридрих-плаце товарищи постепенно сходились. В нескольких метрах от входа стоял Карл Лангшейдт и делал знаки всем, приходившим с ранцами и в желтых рубашках. Он издали увидел приближающийся отряд человек из восьми по крайней мере. В ярости бросился он им навстречу.

— Вы что, с ума сошли? Восемь человек! Удивительно, что вы еще не поете! Сейчас же разойдитесь!

Ребята озадаченно посмотрели друг на друга и, понурив головы, разошлись. А как весело, как красиво они себе все представили! Придем — „Отряд, стой! Мы приветствуем товарищей мощным „Ротфронт". И все будут довольны... А теперь — „вы что, с ума сошли?" Ну, ничего! Он прав, Карл! Мы — ослы!

У входа стоял руководитель группы „Крейцберг", который тотчас закрыл дверь за вновь прибывшими. В гараже разговоры велись шопотом. Ребята осматривали машину, с видом знатоков похлопывали по ней, качали головой, как старики, и обменивались мнениями.

— Гм, недурной ящик! Пожалуй выдержит! Только шины слабоваты. Хорошо бы двойные...

— Или три оси. Только — с нашим Мерседес-Бенц ему не тягаться! Ребята, ну и летел же он! Восемьдесят километров на поворотах; мы думали, что слетит голова!

— Да ты не ври, кто тебе поверит — восемьдесят километров! Мне можешь этого не рассказывать. Я почаще тебя ездил на машинах.

Шофер разогнал ребят:

— А ну, разойдись, вы, специалисты!

Тем временем собралось человек тридцать. Среди них — несколько девушек. В группе „Крейцберг" вообще преобладали девушки, и явилось их восемь человек. Кроме того — Элли, Труда и Грета из группы „Ностицштрассе".

Наконец все забрались на грузовик. Сидячих мест не оказалось, и ребята ворчали. Натянули верх; только сквозь два маленьких целлулоидных оконца с обеих сторон проникал скудный свет.

Автомобиль медленно тронулся, тихо и равномерно работал мотор. Все почувствовали толчок, когда машина задела о тумбу. Сквозь брезент просачивался дневной свет. На перекрестках машине изредка приходилось останавливаться. Но постепенно уличное движение становилось слабее. Эрнст рассказывал товарищам не глядя, по каким улицам шел грузовик.

— Сейчас едем через мост в Фридрихсфельде. А вот — маленький подъем.

Автомобиль беспрепятственно добрался до шоссе. Так же беспрепятственно, как всякий другой грузовик, везущий товар в направлении Франкфурта-на-Одере.

Сквозь маленькую щель в передней деревянной стенке один из товарищей следил за счетчиком. Он с жаром кричал задним:

— Сорок пять — пятьдесят три километра! Она совсем недурно нажаривает!

Машина дрожала; все более и более спертым становился воздух под спущенным верхом. Тео слегка приподнял его. Свежий воздух ворвался под брезент, вместе с ним — густое облако едкой шоссейной пыли.

После трехчасовой езды машина вдруг остановилась посреди шоссе. Перед радиатором стояли шесть темных парней страшного вида.

— Дай по шее этой банде! Вали дальше!

— Тише, тише! Не дери глотку, голубчик! Живо, слезайте! Вы что же хотите дальше ехать?!

— Ах, хочешь нагнать на нас страху? Эй, вы, слизняки! Я тебя...

— Слезайте все!

Сонно потягивались ребята около грузовика, зевали, смешно двигали руками и всем телом.

В рабочем спортивном клубе-пивной еще горел свет. Люди стояли у дверей, человек пятьдесят ждало в комнате. Кто-то из берлинцев гаркнул:

— Мы приветствуем лангендорфцев трижды мощным...

Жесткая рука зажала ему рот, и кто-то сказал:

— Не надо, не надо, парень!

— Это еще почему?

— Да все уже спят. Что же вы не приехали раньше?

— Наш аэроплан в последний момент поломался, и нам пришлось ехать на собственной машине... а выдержала-таки старая кляча!

Каждый лангендорфец хотел постояльцев. Огромный, коричневый от загара комсомолец сидел за столом и распределял берлинцев.

— Мне девушку и двух малых!

— Мне музыканта!

— Что вы, матушка Шульце, ведь это же не красные фронтовики. С ними нет музыки.

— Ах, как жаль!

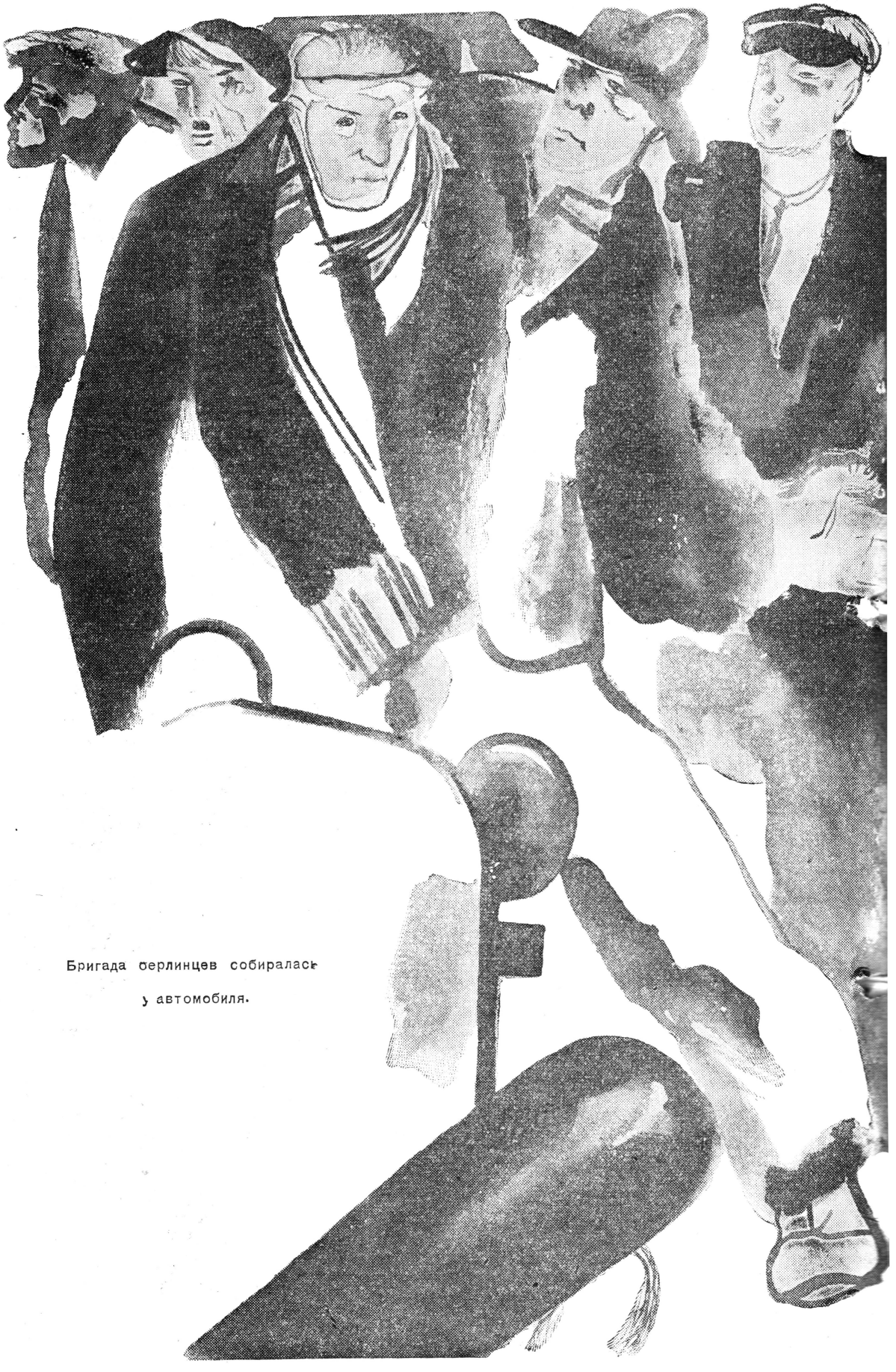
— Мне товарища!

— И мне тоже!

— Все, больше никого нет. Вот что, слушайте, берлинцы! Завтра утром в девять часов мы должны собраться для агитации.

— Что? Вы так рано встаете в этой дыре?

— Заткнись! — Карл прибавил: — Активисты вместе с лангендорфцами соберутся здесь в восемь часов для предварительного совеща-



Бригада берлинцев собиралась у автомобиля.

ния, а товарищам я рекомендую встать пораньше — неподалеку есть превосходное озеро для купанья.

Многим крестьянам пришлось вернуться без постояльцев, и они сердились. Одна щуплая, приветливая женщина бранилась:

— Я сварила целое ведро картофельного салата, а дали мне всего только одного!

Эрих попал к матушке Шульце. Она взяла его за руку и повела, как школьника, приехавшего из деревни погостить в столичный город.

Они остановились у маленького домика.

— Вот тут я живу. Мой муж — ночной сторож, он потом придет.

Она отперла одну из дверей во втором этаже.

„Забавно, какой тут воздух, — подумал Эрих, — совсем не такой, как в деревне!"

Сразу попадали в кухню. В углу стоял старомодный очаг из необожженных кирпичей. Урча подкрался черный кот и ласково потерся головой об икры Эриха. С потолка в некоторых местах сыпалась известка, сквозь стены проникали сырость и плесень. Электрическая лампочка горела тускло, как в берлинских писсуарах.

— Есть хочешь, мальчик?

— Нет, я ел.

— Ну, ну, еще что-нибудь войдет! Кофе и пара булочек с колбасой...

Она все поставила перед ним на стол. Он медленно начал есть. Колбаса была хороша.

— Своей резки. Моего брата. Муж сегодня принес ее.

Эриха бросило в жар, глотку жгло, и он на секунду перестал жевать. Старуха неотступно смотрела на него.

— А ты знаешь Отто Мирке из шестого отделения?

— Нет, Берлин ведь так велик, матушка Шульце!

— Ах, это был хороший малый, он еще до сих пор пишет мне письма. Если увидишь его когда-нибудь, кланяйся от меня. Он трубач и хорошо трубил. Какие парни были тогда!..

Снизу затопали тяжелые шаги. Вошел закутанный человек.

— А, вы уже тут! Я совсем не слышал, как вы приехали. А труба при тебе?

— Да нет, отец, у них нет труб, — ты должен знать, паренек, что мой муж был трубачом у пруссаков.

Старик сначала был несколько разочарован, но потом смягчился. Его спокойный, почти жесткий взгляд пронизывал Эриха.

— Ну, что у вас там, в Берлине? Скоро начнется? А социал-демократы все еще сильны? И как это там с церквями, коммунисты все еще громят их? Вот то-то и оно, с этим я не согласен...

— Что? Церкви громить? Об этом я ничего не знаю, да это и не верно. Правда, пропаганда против церквей ведется, но чтобы их громили — нет, это неверно. С чего вы это взяли?

— Я читал об этом в „Друге народа". Наша воскресная газета. Там все и написано... Значит неверно, а, парень?

— Нет, неверно. Это же ясно, они неправильно освещают все сельскому населению, чтобы не допустить союза городских и сельских рабочих.

— А он будет, товарищ! Ты видишь, мы кладем начало. Может быть мы еще не добились того, что вы, берлинцы. Но это будет! Ну, спокойной ночи! Ты наверно устал, да и мне пора итти.

Чудесно спал Эрих в старой, мягкой крестьянской постели. Он с приятностью потянулся, так что хрустнули косточки; диковинные часы-кукушка на стене пробили восемь. Он вскочил с кровати и быстро оделся. Фрау Шульце, задыхаясь, карабкалась наверх с ведром воды. Они вместе пили кофе. Эрих непременно должен был взять с собой пару ломтей хлеба.

— В двенадцать часов мы едим. Тогда ты опять увидишь моего мужа.

— Что, обедать? Да, да. Я приду.

Активисты и двое из ударной бригады сидели в задней комнате рабочего „клуба". Огромный коричневый парень из Лангендорфа вел собрание. Он говорил неуверенно, потому что воображал, что берлинцы умеют говорить гораздо лучше. Он сделал краткий обзор работы в поселке; все внимательно слушали его. Труда, — сборщица группы „Ностицштрассе" — сильно критиковала предварительную работу на предприятиях.

— Да, да, товарищ, ты права. Но у нас нет средств. Ведь кроме всех этих брошюр нужен местный материал. Один из ваших товарищей поехал на велосипеде во Франкфурт и отпечатал там фабричную газету. Вчера утром ее роздали. Это — первая на прядильной фабрике „Ютес", и она подействовала, как бомба. В обеденный перерыв только и говорили о „Красном кнуте". Мы должны во что бы то ни стало и дальше выпускать газету. Но как?

— Отлично, тогда я вношу предложение, — сказала Труда, — всю прибыль от брошюр и газет, которые мы будет продавать сегодня во время агитации, отдать в распоряжение местной группы. Они смогут купить себе аппарат и издавать газету.

— Старая пишущая машинка у нас есть.

— Ну вот видите.

Кое-кто из берлинцев протестовал, но втихомолку. Они шептались, но не решались выступить открыто. Труда так энергично стучала кулаком по столу и так настаивала на своем предложении, что пресекала всякие возражения. Лангендорфцы радовались; и Труда сразу же завоевала их симпатии.

Загорелый парень продолжал уже более уверенно:

— Мы констатируем, что ваша ударная бригада хорошо работала. Все наши товарищи воодушевлены, в нас снова появилась бодрость, и мы считаем, что в дальнейшем работа пойдет еще лучше. Мы вам обещаем теперь действительно работать. Демонстрация подготовлена при помощи записочек и небольших плакатов. Да и „Страж народа" призывал участвовать в ней. Для поддержки сегодня в обед прибудут пятьдесят кюстринских товарищей. Необходимо, чтобы при продаже материала еще раз указывалось: сегодня в два часа дня на базарную площадь! Так как мы предвидим возможность нападения на продавцов литературы, я пред-

лагаю оставить здесь пять человек. На всякий случай.

— Отлично, а вы пригласили докладчика?

— Да, конечно, все сделано, товарищ Карл!

Сзади у печки сидел маленький лангендорфский товарищ с тупым носом на типичном крестьянском лице. Он подошел к столу и начал обстоятельно, благодушным голосом говорить:

— Послушайте-ка вы, берлинцы! Вы столько болтаете всегда о союзе города с деревней. Хорошо! Вы также требуете от нас, чтобы мы проводили ту или другую работу. Тоже хорошо! Мы это и делаем. На то ведь мы и коммунисты. Но если вы раз в год по праздникам выезжаете сюда, — этого недостаточно. Вы себе даже не можете представить, какие трудности нам здесь приходится преодолевать. Здесь — чертовски грязная дыра. Если народ и не бегает, как прежде, в церковь, то все же поп для них — все. Потом помещики. Они проводят самый жестокий террор. Кроме того наше положение на прядильной фабрике очень скверно и наша местная группа очень слаба. Товарищ Ганс теперь сидит, ведь вы это знаете, и с тех пор, как его нет, все пошло у нас вкривь и вкось. Конечно, когда вы уедете, мы опять с новыми силами возьмемся за работу. Это ясно. Но, чорт побери, давайте же нам указания! Ведь у вас больше опыта, чем у нас!

... Добрый день,—сказал Тео, вот журнал, который вас заинтересует.

Берлинцы согласились с ним. Карл рассеянно крошил картонную подставку по бокам, Тео раздумывал. Он хотел начать говорить, но Труда опередила его. Все с любопытством смотрели на нее. Своими толстыми пальцами она в такт словам ударяла по столу.

— Да, товарищи, вот что мне пришло в голову: если мы заберем с собой отсюда в Берлин двоих или троих ребят недели на четыре приблизительно и оставим здесь на четыре недели двоих или троих берлинцев, было бы хорошо. Наши товарищи отлично могли бы здесь, в селе применить на практике свой опыт и вернуться назад уже специалистами по крестьянскому вопросу. Лангендорфцы пройдут у нас хорошую школу, мы, конечно, по возможности подучим их и поведем в наши школы. Я думаю, что при хорошей организации это очень легко осуществить. Вопрос, конечно, может итти только о безработных товарищах. Отмечаться, ходить за пособием, если они его получают — не проблема. Это могут сделать другие. А места для спанья должны найтись!

Несколько мгновений было тихо. „Молодец эта Труда!“ — думали все. Задвигали стульями, и маленький крестьянин закурил огромную трубку. Он ухмыльнулся, сделал несколько затяжек и наконец выпалил:

— Видишь, вот это дело! Да, это дело!

Загорелый заметил вскользь:

— Я вам вот что скажу: у нас никаких затруднений не будет! Вся наша местная группа захочет в Берлин. А трех берлинцев мы прокормим, и места для спанья тоже найдется.

В комнате стало шумно. Карл вышел и вернулся с бутылкой сельтерской. Труда вопросительно смотрела то на одного, то на другого.

— Да, да очень хорошо. Если это выйдет...

— Почему же не выйти?

— Я только так говорю...

Карл пожал плечами. Он налил полный стакан сельтерской и стал пить его мелкими глотками. Казалось, его мучат тяжелые думы.

— Очень хорошее твое предложение, — сказал он наконец, — право, очень хорошее. Обмен силами. Очень хорошо. Но во всяком случае это эксперимент. У нас нет в этом опыта.

Тео загремел:

— Глупости! Ерунда! Что значит опыт? Мы всегда должны бы так говорить при создании новых методов работы. Тут все совершенно ясно. Труда сделала очень хорошее предложение и одновременно показала, как его можно осуществить. Я знаю по крайней мере троих товарищей, о которых может итти речь. Лангендорфцев мы пристроим, это, право, не представляет никаких трудностей. Каждый товарищ должен с этим согласиться.

— Да мы все и согласны.

— Конечно! Никто же не может быть против!

— А ты, Карл?

— Что?... Я, конечно, принципиально с этим согласен, но не знаю, правильно ли это принципиально...

— Что за чушь ты сегодня мелешь!

— Да, видно, что очень жарко!

В окнах показались лица. Сначала одно-два, потом все больше и больше. Наконец в окна забарабанили и раздался рев:

— Эй, выходи, штаб!

— Мы и от вас требуем точности!

— Ну, живо, идем!

Маленький крестьянин вертелся вокруг Труды, звонко хлопал ее по спине и гоготал.

— Здорово, девушка! Ты заслужила, чтобы я тебя поцеловал. Я поеду, я поеду с вами в Берлин...

— Ну что же, поцелуй!

Но теперь малыш не решался...

На дворе был быстро роздан агитационный материал. Отправлялись группами по четыре человека. В каждую группу входил лангендорфец в качестве проводника. Если дома были расположены по обе стороны улицы, группа опять делилась. Эрих пошел с Тео. Им предстояло обойти главным образом мелкие крестьянские дворы.

— Добрый день! Вот здесь брошюра, которая вас несомненно заинтересует: „Программа помощи крестьянам коммунистической партии Германии".

— Нашего хозяина нет дома. Я не могу.

— Ну, так купите вы!

— Ох, читать? Нет! А нет ли у вас чего-нибудь с картинками? — сказала высокая, полная служанка.

— Конечно! Вот АИЦ[1] И приходите сегодня в два часа на базарную площадь.

[1] АИЦ — „А бейтер иллюстрирте цейтунг" — иллюстрированная рабочая газета.

— А что там?

— Собрание и демонстрация.

— Танцев наверно не будет?

— Нет, — сказал Тео, улыбаясь, — мы не для того приехали сюда, прелестная барышня!

Они везде натыкались на недоверие. Какой-то старый крестьянин накричал на них:

— Убирайтесь вон! Вон! Довольно вы предавали нас со своими чрезвычайными декретами, вы, социалисты!

— Да мы же совсем не то. Мы — коммунисты.

— Все одно! Все они заодно с социал-демократами!

— Да что вы!

Четверть часа по крайней мере спорил Тео с крестьянином. В конце концов тот все-таки купил брошюрку и обещал притти на базарную площадь.

В одном из маленьких домиков они сразу из палисадника попали в кухню. Какая-то женщина деловито мешала в кастрюле и закричала:

— Карл, пойди-ка сюда, коммунисты пришли!

Карл пришел в войлочных туфлях, он улыбался и сразу купил брошюру и один экземпляр „Молодой гвардии".

После двух часов ходьбы оба парня все распродали, кроме одной газеты. Тео заплатил за нее из собственного кармана и подарил молодому доильщику.

Все товарищи уже вернулись. Труда сидела в саду за столиком и принимала деньги, кругом с любопытством стояли остальные. Через несколько минут она вскочила.

— Мы распродали все. Слишком мало было взято с собой. Двести пятнадцать брошюр, пятьдесят „АИЦ" и сто семьдесят пять „Молодой гвардии". Ударная бригада тоже хорошо торговала: сто восемьдесят брошюр, тридцать „АИЦ" и восемьдесят пять „Молодой гвардии".

Довольные успехом, товарищи понемногу разбрелись в разные стороны.

Труда продолжала считать:

— У нас излишек в двадцать одну марку. Значит можно отдать местной группе двадцать марок. Одну марку мы оставляем для нашей кассы.

— Отлично! — сказали Тео и Карл одновременно, затем все трое, взявшись под руки, тоже ушли.

В час дня стали собираться на демонстрацию. Наспех были раскрашены огромные транспаранты, для головной части колонны — лозунг русских большевиков: „Всю землю крестьянам-беднякам! Отобрать поместья! союз города и деревни!", для хвоста — „Коммунизм уничтожит не богатство, а бедность".

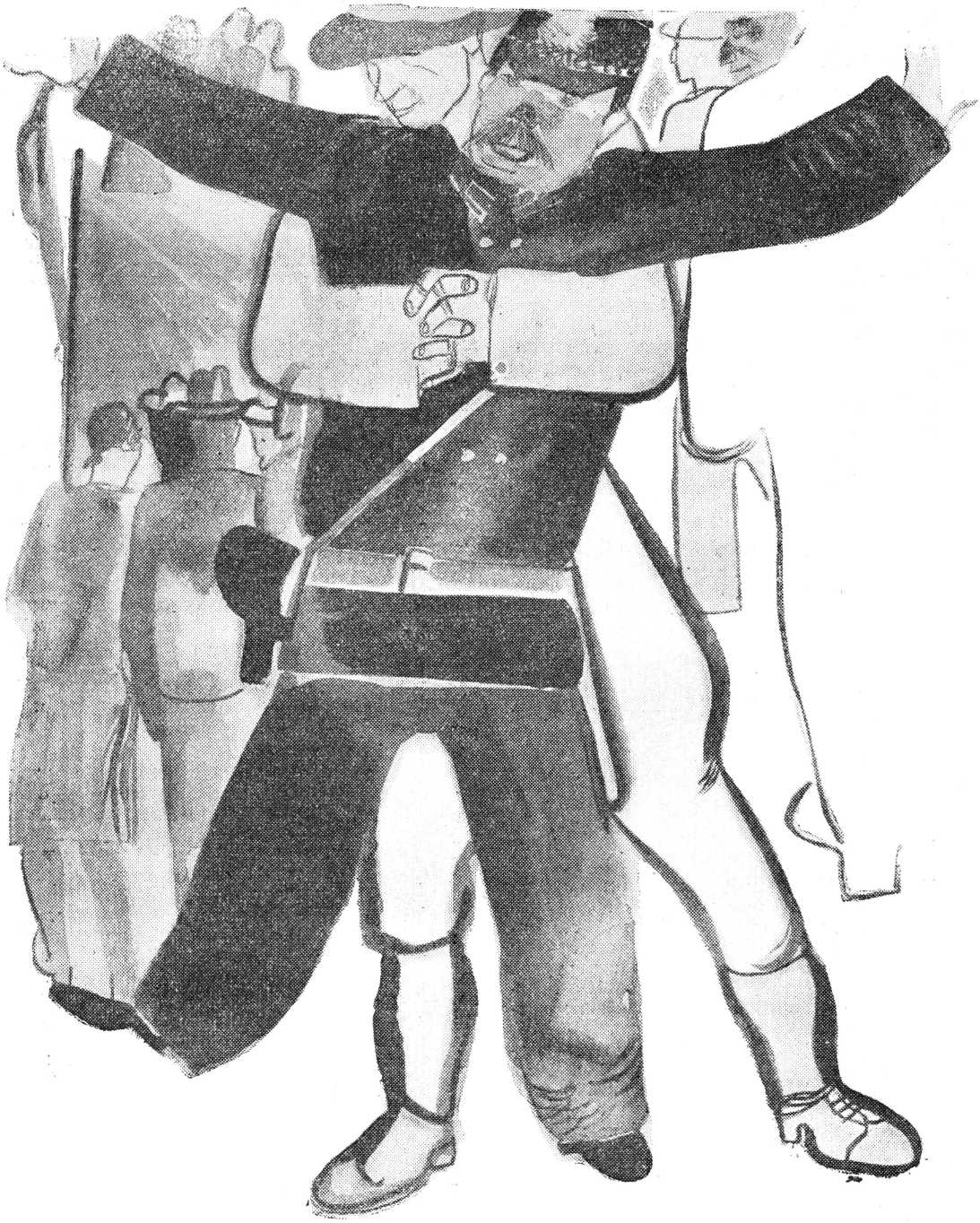
С пением подошли кюстринцы, колонна стала формироваться. Огромное красное знамя колыхалось над демонстрантами, объединяя их.

Эрих шел в первых рядах. Он сжимал руку Карла.

— Послушай, Карл, какое необыкновенное чувство маршировать!

— Да, Эрих, дивное чувство!

Демонстрация прошла через все село. Из окон рабочих квартир ее приветствовали мускулистые кулаки и детские ручонки. Все больше и больше людей примыкало к демонстрантам. Подбежал загорелый комсомолец и крикнул:



Жандарма схватили под мышки и отбросили в сторону

— Никогда еще Лангендорф не видывал ничего подобного!

То тут, то там — возглас в толпе:

— Долой правительство Брюннинга!

— Крестьяне, слушайте! Юные коммунисты говорят: „только социализм может вас спасти!"

Все дальше и дальше. Солнце пекло, вздымалась пыль. Все дальше и дальше.

Вдруг откуда-то вынырнул жандарм. Он стал перед колонной, широко растопырил руки, и хриплым голосом заорал:

— Стой! Стой! Демонстрация не заявлена! Стой! Стой!

Кто-то схватил его под мышки и отставил сторону.

Дальше колыхалась процессия. Жандарм был совершенно ошарашен, еще печальнее, чем обычно, висели его усы. Собака виляла хвостом, лаяла и, быстро перебирая ногами, бежала рядом с демонстрацией. Берлинцы, и кюстринцы пели:

Мы — молодая гвардия
Рабочих и крестьян!

На базарной площади демонстранты остановились. Там уже собралось много народу — любопытные и нерешительные. Робко подходили они ближе, толпились вокруг наспех сооруженной трибуны-стола.

Прибежал взволнованный загорелый.

— Ребята, я не могу найти докладчика.

— Да его наверно еще нет!

— Помогите его искать!

— Да мы же не знаем, какой он из себя?

— Не тот ли это, вон там, в шляпе?

— Кто? Толстощекий? Да ведь это же инспектор из поместья.

Они стояли в нерешительности. Несколько крестьян принесли огромные ведра питьевой воды.

— Карл, ты должен говорить!

— Я, Тео? Я не могу, я охрип...

— Ах, господи, вот растяпа! Хорошо, тогда я пойду...

Тео вскочил на стол. Он приветствовал толпу:

— Мы, юные коммунисты из города, приветствуем рабочих, крестьян и батраков мощным „Ротфронт"!

Трижды прозвучал над площадью боевой клич. Затем Тео продолжал говорить, сначала запинаясь, потом все более и более плавно; голос становился чище и яснее. Он говорил о программе КПГ, о помощи крестьянам, о России и социализме. Его нередко прерывали взволнованные возгласы:

— Да, да, жарьте! Мы с вами!

Жандарм тоже очутился здесь и описывал широкие круги вокруг толпы.

После речи Тео говорил своим твердым, крестьянским языком загорелый комсомолец:

— ... Да, к нам, в Лангендорф, каждую неделю является судебный исполнитель и уводит последнюю корову из чьего-нибудь хлева. Социал-демократы предали вас! Вы выбрали Гитлера, Гитлер обещал вам революцию. Гитлер и не думает больше об этом. Гитлеру не нужно делать революцию, чтобы ввести фашизм, потому что то, что у нас теперь есть — грубейший фашизм. Довольно! Есть только одно: борьба, борьба и еще раз борьба! Бедняк-крестьянин — вместе с индустриальным рабочим. Без борьбы, без сопротивления — еще больше нищеты и гибель...

— Браво, браво!

Еще долго после того, как отзвучал „Интернационал", стояли маленькие группы товарищей с местными жителями и спорили. Три молодых полевых рабочих заполняли бланки вступления в союз молодежи. Они давно хотели притти. Сегодня наконец они пришли. Хорошая была демонстрация, очень хорошая!

Когда берлинцы уезжали, толпа окружала грузовик. Фрау Шульце принесла Эриху булочки с колбасой и большой пучок красной гвоздики.

— Смотри, повидайся с Отто Мирке!

— Приезжайте поскорее опять, берлинцы!

— Да, непременно. Главное — не сдавайте, у нас все на мази!

Трое товарищей из Лангендорфа уехали вместе с ними, маленький крестьянин с большой трубкой и еще двое крепких парней с загорелыми лицами.

Тихо жужжал мотор. Наконец машина качнулась. Жандарм облегченно вздохнул и побежал к телефону...

— Ротфронт, товарищи! Ротфронт! Ротфронт!

По дороге разговаривали мало. Крестьянин напустил сизого табачного дыма, и его оттеснили в самый задний угол. Эрих подвесил к брезенту свою гвоздику.

— Старовата однако твоя невеста!

— Да, но как же иначе могла она выразить свою радость...

Позади Каульсдорфа стоял поперек шоссе велосипедист. Машина резко остановилась.

— Что случилось?

— Вы — коммунистическая молодежь?

— Да, в чем дело?

— У Фридрихсфельдского моста стоит засада, они хотят вас словить.

— Ладно, так мы поедем налево, через Карлсхорст. Спасибо!

— Ротфронт, товарищи!

Велосипедист снова исчез.

Тихо и осторожно крались темные фигуры в одиннадцать часов вечера из гаража. Улицы были пустынны.

Перевела с немецкого *Изабелла Гринберг.*

В МАДРИДЕ ГОРЕЛИ МОНАСТЫРИ

Дм. ЛЕБЕДЕВ Из „ПИСЕМ О ЗАПАДЕ“

После четырех дней пляски и шторма из-за звериных туч вылезает яркая солнечная готика Опорто. В устьи Тахо начинается игривый маскарад лиссабонских парусов; видно, что уже юг, что дальше нет бури, что впереди — солнце и спокойствие.

Двенадцать баллов морской нелепости швыряли нас вкривь и вкось, заплевывая путь мутными валами. Еще с Английского канала море крутилось перед глазами. Нищее, оборванное небо липло к глазам снежными слезами бурь, устилало дорогу дымами грязных волн, бесформенными комьями тумана.

Бискайский залив — традиционный базар бурь и штормов — неприветлив. От штормов у корабля помят борт, потерян якорь, выбыл из строя второй помощник механика.

А главное—в машинном испортилась помпа, подающая нефть, и у старого механика Андрея Моисеевича впервые на лице сосредоточенное выражение.

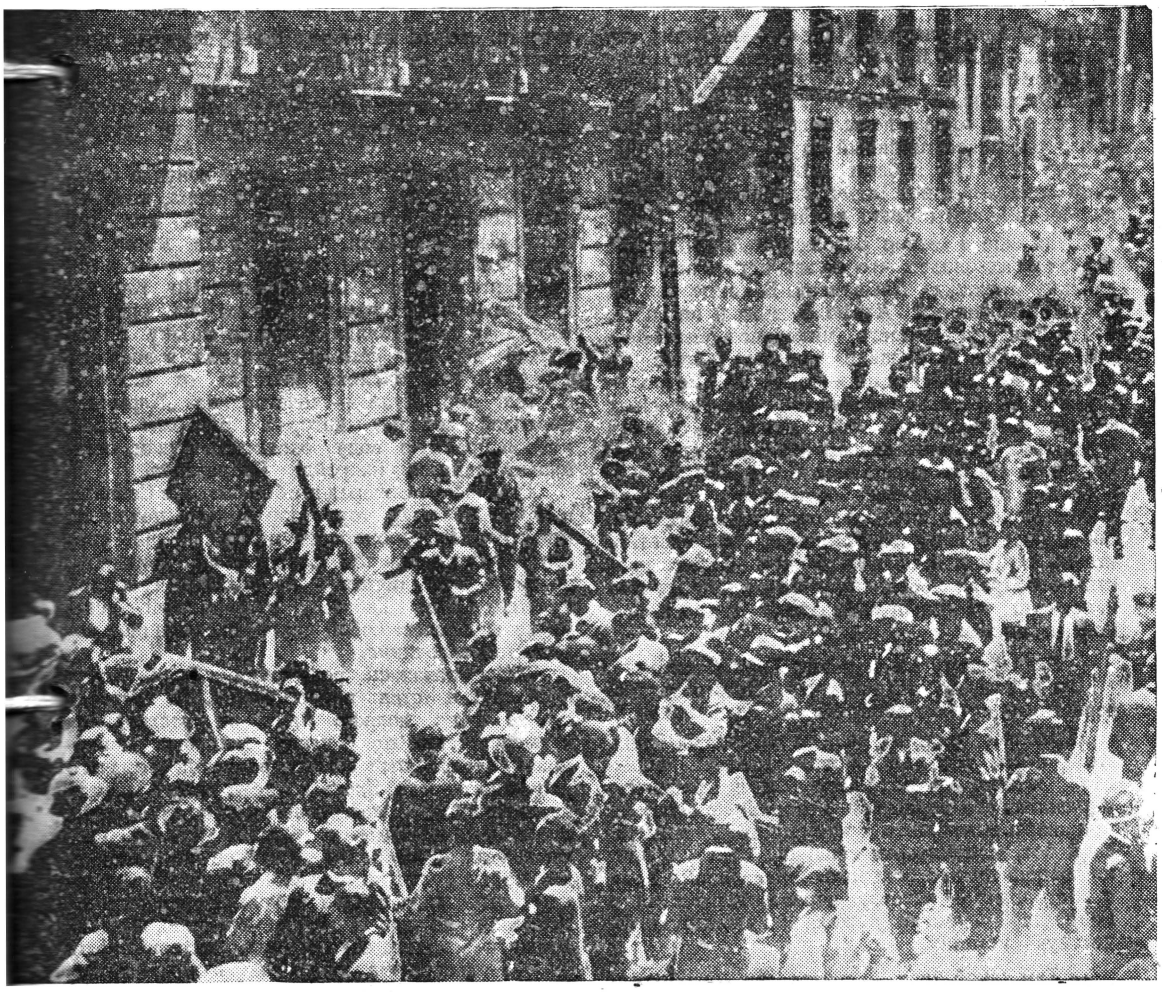
Словом, мы заходим в Гибралтар. Пустят или не пустят на берег? Об этом долго гадали все. Не пустили. Впрочем это закон для всех английских колоний: советские граждане здесь оказываются опасным грузом. „Армения“ повисла на якоре на дальнем рейде рядом с заокеанским красавцем „Гомерик“. На берег выпустили старшего помощника, доктора и больного, когда портовой врач признал, что без операции больному грозит смерть. В виде особой любезности шеф полиции включил в это число и меня.

Гибралтар с моря — нелепый и грузный. Большая скала, склоны которой почти отвесно падают в море. На берегу — горячее солнце и зелень. Вверху — холодный ветер и обнаженные кручи. И еще орудия. Орудий здесь много, и по ночам на всякий случай стреляют. Стреляют и дредноуты — их три в бухте, в сопровождении целой флотилии миноносцев, подводных лодок, истребителей, гидросамолетов. Все это молчит и купается в теплых солнечных лучах. А ночью бегут по склонам гор желто-зеленые огоньки, гудят блестящие, серебряные, вооруженные до зубов самолеты, и на борту то одного, то другого дредноута вспыхивает яркое пламя. День начинается пушечными громами. Ими же он и кончается. Я сочувствую гибралтарцам: им не приходится засыпать от скуки.

Узенькие улички — такие узенькие, что два человека, идущие рядом, обязательно цепляются друг за друга — пронизывают бесконечными извилистыми ленточками этот городишко, уместившийся на крохотном подножьи горы. Это даже не улицы. а линии: Инженерлайн, Мунтенлайн... В городишке — все: магазины, театр, газетки, проститутки и полицейские. Культура забрела сюда в косметическом и шантанном оформлении, и не вина гибралтарцев, если их представление о культуре связывается с высотой шляпной тульи и уменьем безошибочно отбить без аккомпанемента замысловатую чечетку. Городишко, который целиком живет за счет порта, и даже не самого порта, а посещающих его пароходов. Пришел пароход, пискнул юркий лоцманский катер, и в магазинах весело застучали двери, и сонные от зноя кабальеро с несвойственной им энергией начинают стряхивать пыль с залежавшихся тканей, а в меняльных лавках и в пловучих магазинах мелодично позванивают песеты, флорины и шиллинги.

Полиция ревниво охраняет портовых маркитантов от действия большевистской заразы. С парохода можно унести стул, дверь или целый двигатель, — и полиция не заметит этого. Но попробуйте унести с парохода какую-нибудь бумажку. Полицейские катера пускаются яростно в погоню за каждым клочком бумаги, случайно упавшим с корабля, причем нередко их встречают самые обидные неожиданности: мало ли какая бумажка может упасть в воду.

Я раскланиваюсь с рыжебородым сержантом, снимаю шапку перед могилой неизвестного солдата, в сквере которого торгуют тухлыми бананами и еще более тухлыми патриотическими книжками. Я тону в лабиринте бесформенных „линий“... Чтобы объехать город, надо нанять изящный кабриолет, на козлах которого восседает либо серьезный джентльмен в котелке, с галстуком и трубкой, либо расписанный опереточными тонами кабальеро. Такси не соглашается на такое короткое путешествие: для него нет разбега. Такси здесь служит исключительно для „заграничных“ сообщений с Испанией, граница которой — рядом, за коротенькой нейтральной зоной, прорезанной ровным и бесцветным, как страница „Таймса“, шоссе. Жизнь английской колонии — житьишко, скрашенное только игрой адми-



Толпа громит иезуитский монастырь в Мадриде.

нистративных страстей. Гибралтар лишен даже этого последнего удовольствия. В Гибралтаре нет никакой администрации, кроме военного начальства, пользующегося полномочиями диктатуры и устанавливающего свои законы вкусы и моды. Мистер Кохран — шеф полиции — совмещает в себе парламент, короля и высшее общество.

Испания снабжает Гибралтар грузчиками и женщинами. Благочестивый полисмен, регулирующий скромное движение на этих извилистых, узеньких, как гостиничный коридор, уличках, не знает толком, где находится Андалузия или Кастилия, но он легко и охотно укажет вам уютный домик с андалузскими или кастильскими девушками. На главной улице — Мэнстрит — километр в длину, пять метров в ширину — кроме магазинов, банков и церквей, в изобилии имеются укромные домики, предоставляющие матросу рай и ад за полшиллинга. Если же у него есть целый соверен, он получает вдобавок порцию грога, горячий ростбиф, дешевое театральное представление, бутылку пива, фиакр для доставки обратно на пароход в живом, полуживом или мертвом виде... и сифилис.

В конусообразную гору уперлась Испания. В Каталонии — бои. Пылают деревни Андалузии и Эстремадуры. Горят монастыри Мадрида и Валенсии. А здесь, совсем рядом, я спросил в киоске „Дэйли геральд", и газетчик в панике поперхнулся. Газета партии, стоящей у власти в Англии, считается слишком красной для Гибралтара.

Но дыхание революции доносится и сюда, и еще совсем недавно в пограничном испанском городке Аликанте господин альгвасил из Аликанте арестовал скромного белградского студента, заподозрев его в большевизме. Сомнительное само по себе, это подозрение опиралось на тот бесспорный для альгвасила факт, что Белград является столицей... Дело не в самом факте: в Мадриде произвели ревизию географических карт, установили ошибку альгвасила, и злополучный серб был водворен в свое легальное местожительство; но пахучий след этого гигантского туполобия, помноженного на смертный страх перед революцией, не может исправить никакая карта.

Светловский красноармеец знал, что „Гренадская волость в Испании есть": это соответствовало уровню его интернационального по-

нимания. Альгвасил из Аликанте не знает, где кончается СССР и где начинается фашистская Югославия: это тоже соответствует уровню его национальной тупости. Но в Испании живут не одни только доны Хосе и альгвасилы, и, обозревая революционный путь Испании, правильно скрипит зубами старый пуанкаристский социал-патриот Эрве: от Мадрида ближе до Москвы, чем обычно думают.

Ведь еще в вечер революции Альфонс XIII плясал и бахвалился, что он заткнет за пояс всю дюжину прежних Альфонсов. В конце концов этот коронованный Альфонс мог и не знать, что в Испании — шесть миллионов безземельных крестьян. В Галисии наделы подчас не достигают и двадцати пяти квадратных метров — территория могильного склепа. На чудесных землях Торребланки, где хозяином живых и мертвых является сеньор Индельфонс Маранон, вода залила крестьянские наделы. Любвеобильное правительство освободило сеньора Индельфонса от всех налогов. Когда крестьяне обратились к нему за помощью, он ответил, что он беден и помочь не может. Тогда крестьяне собрали небольшой сверточек продуктов и послали их сеньору Маранону с трогательной надписью:

— Беднейшему из деревни Торребланка.

Вы понимаете теперь, что Примо де Ривера и его приспешники сидели на вулкане.

...Красный флаг на рейде Гибралтара, ведь это — целое событие! Сколько мыслей, скрытых надежд возбуждает он у рабочего, управляющего вертлявой моторкой, у матроса, пришвартовывающего к нашему трапу лоцманский бот, у санитарки-испанки, бережно принимающей от нас больного. Маленький Хуан с „Кармины“ — катера, перевозящего меня в Гибралтар — просил у меня какую-нибудь советскую монетку.

— Там такой знак, — сказал он, изображая в воздухе серп и молот.

Мы говорим на трех языках, но все таки понимаем друг друга.

— Россия — это очень далеко, — говорит он, — а как бы я хотел побывать там...

И он восторженно смотрит на наш корабль, когда ботик, танцуя, пришвартовывается к трапу, и каждый раз, уходя, говорит „до свидания“, радуясь тому, что эта встреча — не последняя.

В низком, как подземелье, баре „Астурия“ груды теней и бутылок сливаются в смешное полотнище какой-то футуристической мозаики. У слуги лицо абстрактное и бестелесное, как у героев ван Гога. И такой же, как у ван Гога, блеклый, заплывший грязью и ночью фонарь, в разливе которого плавают мутные, общипанные морские гости. Здесь пьют противно и утомительно. Но в параллелограмме двери передо мной уже не раз мелькал близкий и славный образ Хуана с „Кармины“. Маленький человечек забегает сюда два раза в час — к знакомым и незнакомым, от каждого ожидая вестей из Испании. И каждого он слушает внимательно. И каждому он дарит улыбку. И потому, что душит кривая муть лампы, потому, что серы и дряблы пьяные матросские разговоры, мне хочется поговорить с ним, — я знаю, что он не может быть скучным, этот юноша. И я не ошибаюсь.

— У тебя хорошие глаза, Хуан, и ты из Кастилии, я вижу. Расскажи мне немножко о себе самом. Вечер хорош, и я не устану слушать.

Хуан маленький — так его и зовут в отличие об большого Хуана, его папаши, который убил полицейского в Малаге и за это был приговорен к смерти. Мать Хуана могла бы быть Фраскитой или Мерседес, если бы в наше время водились Карменситы. Но Карменситы появляются теперь только на оперной сцене. За контрабандный провоз табаку в Гибралтар дебелая сеньора угодила в военную тюрьму и там одиноко померла от чахотки. С тех пор Хуан — кочегар на „Кармине“ портовой лоханке, которая подвозит хлеб, мясо и пресную воду океанским судам, останавливающимся на рейде Гибралтара.

Хуан был на очередном бое быков в Севилье, и, по его словам, торреадор больше похож на мясника, чем на оперного певца. Я не стал его разубеждать, тем более, что по портрету, который мне попался на глаза в северной пустыне „Эль Дебате“, созременный Эскамильо изображал собой некое неслыханное довольство лавочника.

Когда началась революция, Хуан бежал в Мадрид и стал комсомольцем. Я потерял его из виду: должно быть он растворился в тысяче таких же Хуанов. Это был комсомолец, заряженный всеми градусами горячего испанского юга. Здесь на всем лежит печать сумасшедшей метеорологии подтропиков. Здесь комсомольцы с голыми руками бросаются на полицейских, но здесь же социал-демократы достигли последнего градуса продажности, подлости и связи с поповством. Господин де лос Риос на следующий день после переворота заявил своим интервьюэрам:

— Большевизма у нас не будет. Рабочие Испании добропорядочны!

Когда испанцы занимали Голландию, Мериме написал комедию о том, как англо-саксонская сообразительность берет верх над испанским безрассудством. Мериме, конечно, мог говорить глупости, но испанским ребятам не хватает рассудочности — и это плохо. Хуан мог вступить в драку с целым отрядом полицейских, а спросите его, чего хочет комсомол, — и он покраснеет, как девушка...

Утром десятого мая добропорядочные испанские рабочие Мадрида камнем пробили окно в редакции монархической „АБЦ“, и уже вечером социалистический министр Прието заявил интервьюерам:

— Под влиянием большевиков рабочие теряют добропорядочность...

В это время на Плаца дель Соль пылал огромный костер из поповских газет. Плаца дель Соль — солнечная площадь. Солнце революции начинало конкурировать с горячим солнцем подтропиков.

Десятого мая в Мадриде демонстрировало десять тысяч людей. Эти десять тысяч несли коммунистические знамена.

— Имения церкви должны остаться неприкосновенными, — заявил де лос Риос.

Это значит двести тысяч попов и монахов пять тысяч монастырей, тридцать пять тысяч

Революционные отряды на улицах Мадрида во время последних событий в Испании

церквей и соборов будут, как и раньше, собирать третью часть народного дохода, в то время как миллионы крестьян задыхаются от голода и безземелья. Демонстранты требовали:

— Гнать попов из Испании!

Ребята шли на демонстрацию с керосином. Бидоны были их знаменем. Демонстранты молчали, но от этого керосина у попов мороз пробежал по коже. В Испании в большом ходу советские нефтепродукты. Кто знает, может быть бензин, который несли мадридские комсомольцы, был советского происхождения. Докажите после этого, что СССР не вмешивается во внутренние дела Испании.

— Я их успокою, — заявил де лос Риос — и двинулся на позиции улицы.

Камень повернул его автомобиль: у испанской молодежи — свои способы регулирования уличного движения. „Проезжайте мимо, сеньор, здесь будет жарко". Когда гора „АБЦ" и „Эль Дебате" сгорела до конца, оставив на площади смрадную кучу пепла, демонстранты пошли к казармам гражданской гвардии. В семнадцатом году такую гвардию в России называли белой. В Испании ее называют гражданской, но от этого она ничуть не стала менее подлой, чем русская. Первого мая она расстреливала безработных в Барселоне. В тот же день она расстреливала демонстрантов в Мадриде. Через день она угощала свинцом рабочих Мурсии и Севильи, пришедших к воротам монастырей с подозрительными бидонами. Понятно теперь, почему испанские рабочие возненавидели эту преступную банду.

Поздно ночью камень угодил в голову фашисту Санчо Герра, бывшему королевскому министру. Поздно ночью рабочие подошли к казармам гражданской гвардии. В толпе, которая остановилась у ворот, было много комсомольцев, и многие комсомольцы несли значки первого союза красных фронтовиков. У фронтовиков было кое-какое оружие, и они спокойно встретили залп. Чорт возьми, мы еще посмотрим, кто лучше стреляет.

Огонь залпа обжег толпу, и демонстранты бросились врассыпную, прячась в ближайших домах, за углами и за деревьями. Убийцы вошли во вкус. Снова залп. На сером асфальте улицы зарябили тела скошенных демонстрантов. Струйки крови поползли по мостовой. Испуганные люди с криком бежали в подвалы, таща за собой испуганных ребятишек.

— Оружия, оружия!

Демонстранты бросались из улицы в улицу. Из глоток рвалось стихийное возмущение раненой в сердце демонстрации:

— Оружия! О-р-у-ж-и-я!

В толпе, что штурмовала казармы, комсомольцы были сплоченным ядром. Они по команде ушли из-под выстрелов, сохранили дисциплину, прячась в подворотни, когда кровь демонстрантов зажгла воздух рабочих окраин. У рабочих чесались руки.

Вот тогда-то наступила очередь Хуана. Никто не знал, откуда пришел он. Поля Кастилии долго видели его тщедушную фигурку. Он пробивался черной работой, батрачеством, игрой на гитаре. Он шел, и за ним шли шпики. Как-то девушка предложила ему руку и сердце. Она была прекрасна, и он пошел за ней. Ночью он убил ее и, бросил ее труп в Гвадалквивир: она оказалась шпионкой. Он шел в Мадрид: это была его цель. И когда он пришел сюда, его первый шаг был — к комсомольцам. Замечательный был парень и потрясал всех своей меткостью: брошенный им камень попадал непосредственно в ту голову, для которой он предназначался.

— Оружие? — спросил он. — Но ведь оружие есть в казармах гвардии?

Это было смешно. Ему ответили хохотом. Хуан рассердился и пошел один. У испанцев нет такой манеры, чтобы бросать товарища: пошли все.

Ночь темна на окраинах Мадрида. В водах Гвадалквивира пестрой рябью стынет холодный свет луны. В узеньких переулках тени оград прячут змейку осторожного отряда. Сторонкой от площади, где дробью залпов гвардия громила каменные плиты улиц, незаметно пробрались комсомольцы. За казармами — склад оружия. Их не ждали здесь. Горсточка храбрецов, вооруженных только энтузиазмом и комсомольской волей, бросилась к воротам. Но правительство республики знало, что у пролетариев чешутся руки. Как могло оно оставить без охраны склады оружия? За воротами склада притаились отряды войск и полиции. Офицер, командовавший войсками, присягал королю и республике. Он готов был присягнуть самому чорту, лишь бы тот спас его от рабочего восстания. В Испании, где на каждых пятеро солдат приходится один офицер, армия всегда служила верой и правдой королю, духовенству и капиталу. Офицер приказал стрелять. Ребята готовы были броситься в бой без оружия. Но офицер увидел, что нападавшие — молодежь, что их мало и что они без оружия. Он выбросил на улицу свою полицейскую кавалерию. В блеклом свете луны блеснули шашки, зелеными масками запрыгали лица. Конные бандиты с гиком набросились на молодежь. Хуан кричал:

— Не отступать! Не отступать! Сейчас им будет жарко!

Его ударили шашкой в плечо, и он скатился в канаву. Потом послышалось несколько одиночных выстрелов, и у казарм наступила тишина: атака кончилась. Ребята с трудом вынесли Хуана с поля битвы.

Проклятье!..

Хуан требовал, чтобы его бросили в канаву и шли к соседнему складу. Ребята отказались. Тогда он усилием воли поднялся, — лицо перекосилось от боли, — крикнул:

— Идем!

Его хотели удержать.

— Прочь!

Он пошел впереди, поддерживаемый товарищами. Уже за полночь они тихонько подкрались к другому складу, где хранилось оружие для полиции. Стой! Залп. Брызги крови на плитах ограды. Назад! Но кто смеет говорить „назад"? Комсомольцы ложатся на землю и начинают обстреливать склад из револьверов. Бесполезная затея. Полиция хорошо забаррикадировалась и одного за другим вырывает из комсомольских рядов смельчаков, пытающихся подойти ближе. Хуан командует:

— В атаку!

Цепочка атакующих рванулась к казармам. Их встретили пулеметной дробью. В свежем ночном воздухе далеко отдалось эхо пальбы. Массивные ворота склада — нелепые и глухие — стали на пути. Назад! Назад! Но Хуан тащит за собой горсточку отчаянных людей, хочет зубами разгрызть чугунное препятствие. Пулеметный залп отделяет первую линию атаки. На холодном асфальте дымится красное облако крови. Одиночки начинают пятиться назад: атака сорвана. Хуан придерживает рукой брызжущее кровью плечо и, цепляясь за крючья ворот, лезет на стену. Дым. Треск. Одиночки ползут по панели, волоча за собой раненых. И потом уже на ходу, должно быть от злости, забегают в склад охотничьего оружия и забирают там все, что можно. Невелика сила — охотничье ружье, но если какой-нибудь белогвардеец вздумает соваться, куда не нужно, ему всадят полфунта дроби в такое место, что ему месяц придется лежать на животе или стоять. Потому что сидеть будет очень больно.

К вечеру затихла ружейная дробь. Остыли улицы. В зареве пылающего монастыря кармелиток разбежались последние клочки демонстрации. У монастырей спешно выстраивались отряды гражданской гвардии, и капитан приказывал стрелять в толпу женщин, пришедших поглазеть на горящее хозяйство Иисуса. Иные на ходу оплескивали керосином облупившиеся средневековые стены. Когда руки начинают чесаться сами, значит будет пожар.

Оперные испанцы кончились без остатка. Карменсита ушла в портовый кабак, а пришедший из деревни коренастый Эскамильо, вооружившись бидоном, подпаливает монастыри.

Ребята, конечно, поучились драться. Но хмурый секретарь комитета, выслушивая доклад, заметил сухо:

— Ненужная атака. Одни комсомольцы не сделают революции.

И ушел. Только спросил: — А где Хуан?

Ему не ответили. Утром в несгоревшей еще пачке „Эль Дебате" можно было прочесть в хронике происшествий:

„Вчера расстрелян при попытке к бегству арестованный гражданской гвардией беглый бандит из Гибралтара, подозреваемый в большевистском шпионаже, Хуан Рамес..."

В этот вечер в Мадриде горело одиннадцать монастырей. Семь горело в Валенсии и четыре в Севилье...

ДИЗЕЛЬ К И М

Г. МИШКЕВИЧ
Л. ЛЕГОВ

В 1913 году во время страшного шторма, волнами Бискайского залива был смыт за борт первого в мире судна-теплохода талантливый немецкий инженер Р. Дизель, изобретатель двигателя, которому было суждено блестящее будущее. Двигатель его системы получил имя своего творца.

* * *

В 1932 году интернациональная комсомольская бригада ленинградского Дизельного института сконструировала экспериментальный двигатель „КИМ" невиданной во всем мире конструкции.

ЭТО БЫЛО НА ЗАРЕ

Начинался расцвет капитализма. Лапутян из Свифтовских романов сменяли трезвые, ученые мужи, служители своего класса. Во Французской академии наук обсуждали пути развития промышленности Франции, в Германии армии Карно терпели поражения из-за плохой помощи науки. В жестоком подавлении схоластики и алхимии утверждался стяг молодой буржуазии. Машина, техника были ее эмблемой. Эдисон, Лавуазье, Вольта, Ампер, Фарадей, Депре — люди, рожденные ею.

В маленьком местечке Германии в 1859 году родился будущий инженер Р. Дизель.

Сотрудник одной английской газеты подсчитал, что мозг Эдисона стоил пятнадцать биллионов рублей.

Цены мозга инженера Дизеля никто не подсчитывал. В канун наступления последнего этапа развития класса, родившего его, как последний солдат, до последнего часа не покидавший своего поста, рожденный капитализмом инженер Дизель был снесен волной бушующего океана, кидавшего, как щепку первое в мире судно с диковинным мотором его конструкции, не требовавшим угля или керосина.

В 1913 году в волнах Бискайского залива трагически кончилась жизнь талантливого немецкого инженера, но двигатель, им созданный, не погиб.

Технические особенности двигателя Дизеля заключаются в том, что топливо (главным образом сырая нефть), сгорая в цилиндре двигателя, не требует специального механизма для воспламенения горючего (магнето, аккумуляторы, свечи, провода и др.), то есть самой капризной части двигателя внутреннего сгорания, работающего на бензине и других легких сортах топлива. В двигателе Дизеля топливо воспламеняется собственной теплотой, будучи быстро сжато поршнем до огромного давления. Затем в двигателе Дизеля нет второй, не менее капризной части, присущей бензиновым моторам, — карбюратора, прибора для испарения бензина и подготовки горючей смеси. В дизеле топливо впрыскивается мощным топливным насосом „Бош" прямо в цилиндр, где и сгорает почти полностью. Дизель всегда готов к пуску, чрезвычайно экономен, потребляя в час на 1 лошадиную силу до 180—190 граммов нефти, в то время как бензиновый двигатель расходует от 200 до 400 граммов бензина на 1 лошадиную силу в час, и в сочетании с генератором электроэнергии или другими агрегатами (на электростанциях, кораблях, тепловозах, теплоходах и т. д.) обладает большим коэфициентом полезного действия.

Эти преимущества двигателя Дизеля перед бензиновым мотором привели к тому, что этот двигатель получил огромное распространение во всех отраслях энергетики. От первых тяжелых маломощных и тихоходных машин современная техника пришла к новейшим легким моделям, начинающим внедряться сейчас в автотракторостроение и даже авиацию (двигатели фирм: Юнкерс, Ман, Паккард и др.).

Двигатель Дизеля быстро поднимается на щит капиталистическими предпринимателями Запада, оставив на долю толстокожего русского Тита Титыча допотопные паровые локомобили, паровые машины времен Уатта и Ньюкомена. Но и русский заводчик быстро понял, что за штука — новый двигатель, и уже до революции, приспособляясь к мелким, кустарным запросам рассейской техники, предприимчивый русский нефтяник Нобель начинает постройку „мощных" стосильных дизелей на своем заводике на Выборгской стороне. По самую революцию капликовый дизельный заводик выпускал отжившие, старые модели двигателей.

Наше дизелестроение от допотопных и мелких двигателей дореволюционного завода Нобеля перешло к выпуску мощных типов двигателей. Так, только одним ленинградским заводом „Русский дизель" (быв. завод Нобеля) в 1931 г. было выпущено 41 840 лош. сил мощных машин, в том числе и машина им. тов. Сталина в 3250 лош. сил. В 1932 году завод успешно осуществляет постройку двенадцатицилиндрового двигателя в 12 тыс. лош. сил — по тысяче сил в цилиндре. Коломенский, харьковский, московский дизелестроительные заводы также добились больших результатов.

Но за громом аплодисментов и хвалебных гимнов, девятнадцать лет щедро рассыпаемыи по адресу дизеля предприимчивыми фирмам „Зульцер", „Ман" и др., сейчас уже слышится трагически-громовой голос Шпенглеров — долой дизель, долой мотор, да здравствуют галеры с каторжным трудом гребцов! Остановите тракторный конвейер, дайте дорогу плугу!..

Капитализм, родивший дизель, стал его же могильщиком. Короли бензиновых и керосиновых двигателей блокируются против „фанатиков прогресса", предлагающих перевести на дизель не только суда, но и трактор, автомобиль и самолет. Блестящие технические проекты, предлагающие перевести авиационный, автотракторный парк на легкие дизели, разбиваются о конкуренцию расчетливых владельцев хорошо налаженных производств бензиновых и ке-

росиновых двигателей, владельцев „Стандарт ойль", Детертинга и других королей бензина и керосина.

Какое дело Форду до того, что тридцать процентов всех случающихся порч у трактора и автомобиля идет за счет неисправностей магнето и карбюратора, ненужных при переходе на дизель.

Тупик капиталистических противоречий оказался гибельным и для дизеля.

На заводах Германии построены дизели небывалой мощности, — но они не нашли себе применения в капиталистическом хозяйстве. В списке „благодеяний" капитализма числится законсервированным блестящий проект дизеля в тысячу лош. сил весом в одну тонну. Это значит одна лош. сила приходится на один килограмм веса!

И, в безвыходном отчаянии трагически заламывая руки, идеологи капитализма, могильщики техники, пытаются научно „обосновать", что „иного нет у них пути", как назад, к средневековью, к временам бунта против машин.

В смерти инженера Дизеля была своя символика. Начало трагедии конца, начало бури, начало капиталистической стихии, выбивающей руль из рук рулевого корабля, „не знающего попутного ветра"...

ЭТО БЫЛО В ИЮЛЕ 1931 ГОДА

Комсомольцы Экспортлеса знали, „куда они плывут". Их „попутный ветер" — социалистическая, плановая система хозяйства.

Это было в июле 1931 года. В редакцию комсомольскої газеты пришел парень в больших рукавицах и засаленном кожаном пальто, изобличавших тесную связь владельца кожи с автотракторным делом.

— Я комсомолец, механик гаража „Экспортлеса". Фамилия моя Андриевский. Пришел я по делам научного порядка, имеющим по мнению нашего коллектива огромное значение.

Андриевский, не дожидаясь ответа, вытащил карандаш, бумагу, технический журнал, посвященный вопросам автомобилизации СССР, и с места в карьер приступил к изложению „дел научного порядка".

Андриевский рассказывал о самолетах Юнкерса, работающих на дизеле, о похороненных конструкциях быстроходных дизелей и о „пауках" Экспортлеса.

— Взять к примеру наши „пауки".

Андриевский быстро спохватился, что уж слишком много он наговорил непонятного.

— „Паук" — это наш автолесовоз. Работает он на бензине. А перевести его на легкий дизель — это значит избавиться от капризного магнето и карбюратора, это значит...

Андриевский берет лист бумаги и быстро подсчитывает:

— Бензин первого сорта стоит 320 р. 40 к. тонна второго сорта — 251 р. 80 к., керосин — 116 р., моторное топливо, т. е. обычная нефть, для дизеля — 42 р. 50 к. тонна.

И кому, как не механику гаража „Экспортлеса" Андриевскому, знать цену дорогих легких топлив, капризы магнето и карбюраторов... Андриевскому также хорошо знакомо чувство страха перед пожаром от неосторожной искры, воспламеняющей бензин. В нефти же можно тушить спичку.

Андриевский еще долго и увлекательно рассказывал о „царстве будущего", когда шофер не будет бояться остановки из-за порчи магнето, летчик, реющий над землей, не будет бояться взрыва от нагрева воздуха, способного воспламенить авиационный бензин.

В июне 1931 года, когда секретарь Орлов намечал повестку дня ближайшего актива ВЛКСМ, Андриевский предложил:

— Обсудить на бюро совместно с активом вопрос о легком дизеле.

Вначале никто ничего не понял. Какое отношение имеет легкий дизель к экспорту леса? И тогда Андриевский изложил перед неофициальным бюро коллектива результаты многомесячного изучения проблемы перевода авио и автотракторного парка на легкий дизель. Практический опыт механика-шофера в сочетании с теоретическими знаниями, приобретенными самообразованием, помогли Андриевскому выявить много новых преимуществ легкого дизеля.

В комитете понемногу входили „во вкус".

Экстренное заседание бюро комитета ВЛКСМ совместно с активом постановило создать специальную комсомольскую бригаду, во главе с Андриевским, для протаскивания поднятого вопроса.

Инициатива Андриевского нашла поддержку в комсомольском и партийном коллективах Дизельного института. В ряды энтузиастов легкого дизеля стал секретарь комсомольского коллектива, молодой инженер Проскуряков. Совещание, созванное „Сменой" и обкомом комсомола, показало, что борьбу за дизель нужно перенести в центр — в Москву.

Совещание при ЦК ВЛКСМ, обсуждение этого вопроса в ВСНХ СССР дали реальные результаты.

„История" с легким дизелем была причиной первого нашего знакомства с Андриевским и Проскуряковым.

ЭТО БЫЛО В ЯНВАРЕ 1932 ГОДА

Андриевский после нашумевшей борьбы за легкий дизель исчез с горизонта. Во второй раз мы его встречаем на одном из очередных заседаний секретариата Смольнинского РК ВЛКСМ.

Заседание было не совсем обычное...

Двенадцать лет назад с трибуны VIII Всероссийского съезда советов Владимир Ильич говорил:

— На трибуне всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры и агрономы. Чтобы настоящим образом перейти к делу хозяйственного строительства, надо этот обычай начать со всероссийского съезда советов и провести сверху донизу по всем советам и организациям".

И этот обычай уже твердо вошел в систему работы наших организаций.

...Итак, шло заседание секретариата Смольнинского РК ВЛКСМ. Докладчиками были инженер-комсомолец Проскуряков и бывший шофер „Экспортлеса", ныне рабочий-аспирант Дизельного института, комсомолец Андриевский

оба — члены комсомольской бригады института, сконструировавшей совершенно новый тип дизеля.

Так во второй раз мы встретились с „дизельными энтузиастами".

Заседание секретариата во время информации Проскурякова мало чем отличалось от учебной аудитории втуза. На столе висели чертежи разрезов общего вида дизеля, на крышке которого четко выделялась марка — „КИМ".

Так был назван новый бескомпрессорный дизель.

„КИМ" — это было не просто парадное название. Четыре комсомольца—члена конструкторской бригады, действительно символизировали Коммунистический Интернационалом молодежи. Все они — разных национальностей, каждый из них имеет за собой несколько лет комсомольского стажа, каждый из них пришел в науку своим тернистым путем. Все они на собственном примере могут подтвердить слова Маркса о том, что „не широкая военная дорога ведет к сияющим вершинам науки, а тернистый, извилистый путь по каменистым тропам и непроходимым дорогам".

Проскуряков — осетин, комсомолец с 1924 г. С комсомольским призывом во флот в 1925 году пошел и Проскуряков. После флота — втуз, а оттуда партийные и комсомольские организации посылают его в Дизельный институт штурмовать крепость, именуемую наукой. В Дизельном институте он жадно берется за работу, перегоняя дни и сроки. Из аспирантов его досрочно переводят на самостоятельную работу инженера.

Пак — кореец, старый комсомолец и молодой партиец. Сквозь темноту и невежество своей страны он пробивал путь от моряка торгового флота до аспиранта Института водного транспорта.

Нина Маэлах — украинка, комсомолка, недавно окончившая Харьковский машиностроительный институт.

И наконец Андриевский — русский, бывший шофер, рабочий-аспирант, выдвинутый в науку комсомолией „Экспортлеса". Его путь — путь большевика, овладевающего техникой.

Таковы живые люди, творцы дизеля „КИМ", такова четверка, давшая отставку выходным дням и далеко за полночь засиживавшаяся в затихшем здании Дизельного института за чертежами, выкладками, спорами. Усилиями преодолев трудности, бригада добилась блестящей победы советской науки.

Идея сконструирования дизеля родилась тогда, когда в институте остро стал вопрос:

— Как преодолеть трудности дизелестроения?

Двигатель Дизеля имеет много невыясненных технических сторон, своей неизвестностью тормозящих дальнейшее развитие техники советского дизелестроения. Главным образом неясны отдельные моменты процесса сгорания топлива в цилиндрах (детонация), процесс охлаждения, „поведения" машин и др. Задача увеличения числа оборотов двигателя — также мало выясненная сторона машины. Иными словами, двигатель еще требует усиленной лабораторной, научной, а главное — экспериментальной проверки.

Силовые станции и дизели крупных электростанций по плану работ второй пятилетки дизельной промышленности составляют 20 миллионов лош. сил. Эти 20 миллионов лош. сил приходятся на машины самых различных типов. Тип дизеля и должна дать наша дизельная промышленность в виде оригинальных, новейших советских конструкций.

Сейчас мы строим дизели по заграничным лицензиям, и не только строим, но с одновременной работой по освобождению от лицензионных конструкций мы все же вынуждены еще выбирать для некоторых отраслей промышленности импортные типы двигателей.

Освободиться от иностранной дизельной зависимости мы во многом можем только на базе научно-исследовательского разрешения ряда научно-технических вопросов.

Научно-исследовательские работы в этой области строят сейчас свою работу только на испытании моделей, проработке иностранных данных и грубых экспериментов, на основании которых нельзя передать в промышленность целый ряд самых злободневных вопросов, так как они не проверены и не уточнены.

Спроектированный же бригадой дизель „КИМ" представляет собою четырехтактный двигатель с переменной степенью сжатия, изменением распределения, со спектральным анализом и отбором газов, изменением формы водяной рубашки, и может быть быстро переделан из четырехтактного в двухтактный.

Переменная степень сжатия, необходимая для исследования детонации (взрыва) топлива, работы двигателя на высоких степенях сжатия и других режимов и моментов работы двигателя, достигается перемещением внутренней части крышки цилиндра, исполненной в виде своеобразного поршня с ленточной нарезкой на внешнем конце. Вращая маховичок, на оси которого находится червяк, соединенный с гайкой (последний в свою очередь соединен с внутренней частью крышки), мы будем ее опускать или поднимать и тем самым изменять величину рабочей камеры и степени сжатия горючей смеси.

Непременным условием правильной работы двигателя является постоянство зазоров между распределительными кулачками и толкателями клапанов, что осуществляется в этом двигателе при перемещении крышки вверх или вниз специальным рычажным механизмом. Изменение распределения достигается путем вращения и осевого перемещения распределительного вала.

Для переделки двигателя в двухтактный, заменяется втулка и рубашка, и в зависимости от рода испытания ставится соответствующая крышка. Для исследования продувки двухтактных двигателей сконструированы специальные продувочные и выхлопные коробки, позволяющие изменять путем вставок углы входа продувочного воздуха и выхода отходящих газов.

Для изменения давления и количеств продувочного воздуха взят обычный поршневой продувочный насос, но соединенный особым механизмом с двигателем.

На этом двигателе будет применен спектральный анализ газов, для чего проектируется специальная установка, позволяющая наблюдать и фотографировать на кинопленку спектр поглощения газов внутри цилиндра двигателя. В самом двигателе для этого будут вставлены

кварцевые стекла. Вопрос о степени очистки цилиндра двигателя при применении спектрального анализа встанет в новом освещении, и предположительные до сих пор коэфициенты мы сможем впервые в мире установить практически, чтобы досконально выяснить доселе невыясненное. И вот ВНИДИ (Всесоюзный научно-исследовательский Дизельный институт) решил заказать на заграничном заводе Кертинга такой универсальный двигатель, с которым можно было бы пуститься в дальнейший исследовательский путь, путь создания новых, невиданных в мире левиафанов энергетики, двигателей внутреннего сгорания, неизвестных ни одной капиталистической стране мира. Но капиталистический завод Кертинга принять заказ социалистической науки отказался. Техника капитализма оказалась неспособной разрешить требования и задачи советского дизелестроения.

Вот тогда в судьбы последнего вмешалась комсомольская интернациональная бригада конструкторов.

Проскуряков, Пак, Мазлах и Андриевский приступили к конструированию. Срок был поставлен жесткий — к 1 февраля сдать все чертежи. Дело не обошлось без насмешек и явно выраженного оппортунистического неверия в возможность сконструировать и сдать в столь жесткие сроки все чертежи. Выходные дни, вечерний отдых были отменены. В выходные дни, когда в институте, всегда сотрясаемом мощными дизелями машинного зала, наступала необычайная тишина, в проектной комнате за проектированием дизеля „КИМ“ сидели четыре комсомольца.

Через чащу насмешек, трудностей, джунгли недоверия молодые большевики пронесли тонкие и изящные линии чертежей будущего двигателя. Машина создана, она нанесена тушью на десятке листов плотного ватмана, она ждет своего воплощения в металл, своего рождения в цехах ленинградских заводов.

Вот что пишет об этой машине видный ученый, профессор Мартенс:

„Порученную работу по проектированию дизеля „КИМ“ бригада Проскурякова конструктивно выполнила правильно.

Спроектированный двигатель дает возможность исследования всех вопросов дизелей и представляет большой интерес для научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий в качестве экспериментального двигателя, и для втузов — в качестве наиболее удобного наглядного пособия...“

Сконструированная машина предъявила тотчас же ряд новых технических требований многочисленным заводам и научно-исследовательским институтам всего СССР. Потребовалось налаживание специальных кварцевых стекол (для спектрального анализа), которые в СССР никогда не производились. За изготовление их взялись комсомольцы ленинградского Института прикладной минералогии. Откликнулись комсомольцы „Большевика“, „Русского дизеля“ и других заводов.

На борьбу за „КИМ“ встали тысячные комсомольские массы. Фронт борьбы за освобождение СССР от иностранной технической зависимости расширился еще на одном участке социалистической стройки. Фронт этот будет расти и шириться, ибо наша система хозяйства — не лимит, а стимул для еще большего развития блестящих технических идей, для большого размаха теоретической и практической мысли, перед нами никогда не может стать угроза консервации технических идей.

Создание „КИМа“ — звено в огромной цепи побед нашей социалистической науки и техники...

Рядом с Дизельным институтом, бок-о-бок с бригадой „КИМ“ работают комсомольцы Института металлов, молодые техники, лаборанты и аспиранты. Среди них есть такие, как Чистов, с опасностью для жизни создавший метод жидкостной цементации, Карандашов, проведший ударными темпами экспериментальную часть работы по азотированию стали. В Лесном, под сводами высоковольтной лаборатории, работают комсомольцы — инженеры-исследователи Крейн, Вальчихина, Равдоник, Романов. В Государственном институте прикладной химии молодые инженеры-комсомольцы Песин, Марков извлекают ванадий из золы шунгита и окись алюминия из нефелиновой породы.

От Академии наук до заводской лаборатории — везде и всюду творят, исследуют, изучают, изобретают, осуществляют новые, неизвестные и недоступные капитализму технические проблемы представители собственной пролетарско-технической интеллигенции.

Осуществляются замечательные слова Ленина о том, что „только социализм впервые создает возможность втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они смогут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить свои таланты, которых в народе непочатый край и которые капитализм душил тысячами и миллионами“.

по ту сторону

Н. КОНСТАНТИНОВ

I. С БЕЗРАБОТНЫМИ РАЗГОВАРИВАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

На бирже труда целый день безработные. Облепили скамейки, стоят в коридорах вдоль стен, толпятся перед решеткой у конторы. Каждый входящий спрашивает:

— Ну как? Что нового?

— Что нового? Ничего.

Работы нет.

За решеткой сидит Пауль Цшокке. Его дело—писать направления на работу. Но писать нечего: требований не поступает.

Когда на биржу приходит требование на водопроводчика или маляра, Цшокке сразу оживляется. Щуплая рука в шерстяном напульснике так и прыгает по бумаге.

— В добрый час,—провожает Цшокке того, кто наконец дождался работы.

Заморыш-чиновник Цшокке, который вечно боится, что у него развалятся последние ботинки, конторская козявка Цшокке волнуясь моргает красными веками. Раньше он служил на кофейном складе — считать мешки с кофе легко, десять мешков или сто, не все ли ему равно? А как считать безработных? На бирже их семь тысяч четыреста двадцать три. Пересчитывать их — все равно, что считать голод, нищету, смерть.

Цшокке знает, что такое—остаться без работы.

Как-то раз на биржу труда пришел парень по имени Петер Мюллер. Простое имя — и парень был простой и веселый. Цшокке его запомнил. Профессия — токарь по металлу, причина увольнения — сокращение производства. Мюллер навалился на решетку и дышал трубкой прямо в лицо Цшокке.

— Ждать долго не придется, — сказал Мюллер.

— В добрый час,—сказал Цшокке.

С того дня они встречались каждое утро, один—за решеткой, другой—перед ней.

— Долго еще ждать?—спросил Мюллер через два месяца.

Через три месяца он пришел без пальто,—заложено в ломбарде.

Через четыре месяца Мюллер не говорил, а сипел,—пропал от кашля голос.

Через пять месяцев к решетке подошла женщина в рваном платке, вдова Мюллера. Она спросила, как получить пособие на похороны.

И Цшокке все объяснил, все адреса написал на бумажке, посоветовал, к какому чиновнику лучше обратиться.

На прощанье просунул через решетку руку и пожал холодную руку вдовы.

— В добрый час, госпожа Мюллер!

На бирже много таких Мюллеров. Самого Цшокке тоже могут уволить. Заморыш-чиновник вечно боится, что у него развалятся сапоги, что он не понравится начальству. Тогда и он станет к решетке с той стороны. И будет нужна помощь, совет, доброе слово.

Цшокке объясняет безработным, как и где получить пособие. Есть разные пособия, кризисные и благотворительные,—кому что подходит. Цшокке знает адреса всех бесплатных столовых для тех, у кого помутились глаза от голода.

Однажды на биржу пришла комиссия рейхстага. К столу Цшокке подошло трое важных господ, которые управляют страной и издают законы. Они посмотрели, как работает Цшокке.

— В [illegible] обязанности не входит объяснять безработным, как и где получать пособия,—сказал один член рейхстага.

— Не давайте никаких советов, занимайтесь своим делом, — сказал другой.

Третий сказал:

— Излишне приветствовать посетителей. Вы — не в гостиной.

Через несколько дней Цшокке был уволен.

Комиссия рейхстага нашла, что число бирж труда надо сократить вдвое. Из каждых ста служащих уволить двадцать семь. Оставшимся приказать не вступать в разговоры с безработными, не давать им никаких советов, не пускаться в разгововы с безработными. Незачем учить их, как получать пособия. Государство бережет каждую марку на полицейских, на тюрьмы, на рейхстаг.

Цшокке был уволен в начале января.

С тех пор прошло три месяца.

Где ты, заморыш-чиновничек, занимавшийся филантропией? Стоишь перед решеткой или уже умер от истощения? Твоей вдове никто не скажет, откуда получать пособие на похороны.

А если ты жив, Пауль Цшокке, не думаешь ли ты о том, что может уменьшить вереницы людей по ту сторону решетки, людей, которым не помогли твои советы?

2. „ЗА ЧТО ЖЕ ВАМ ПЛАТИТЬ?“

В шахте „Магдалина два“ был обвал. Впоследствии главный инженер доказывал, что причиной обвала было внезапное оседание угольных пластов, но рабочие говорили, что угольные пласты осели из-за неисправного крепления.

В момент катастрофы в дальних забоях работали семь шахтеров. Они были отрезаны от выхода.

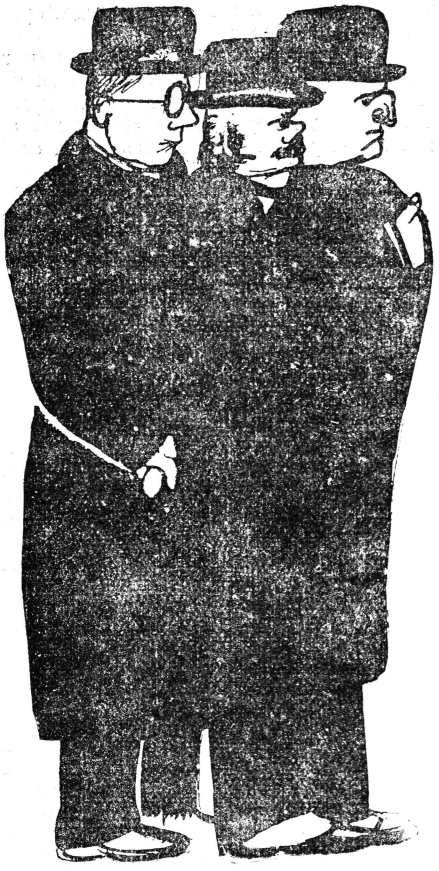
Сразу после обвала наступила тишина. Глухое эхо гудело в земляной толще. Старый шахтер Костецкий, оглушенный обвалом, раскрыл глаза. Сначала он подумал, что ослеп,—вокруг все было темно. Он потрогал глаза и понял, что в шахте погас свет.

Костецкий сполз с кучи угля и наткнулся рукой на человеческое тело. Это был Диц, работавший рядом. Диц лежал в обмороке: на него опрокинулась вагонетка, сошедшая с рельсов. К счастью, вагонетка была пустая,—Костецкий отодвинул ее.

Диц не шевельнулся. Тогда Костецкий нащупал рукой лужицу в выбоине на полу и плеснул водой в лицо товарищу. Диц сел и закашлял.

К шахтерам подполз третий человек.

— Ты кто? — спросил Костецкий.



— Штрассер, забойщик.

Диц проговорил сквозь кашель:

— Я харкаю горячим и соленым — верно кровь. Мне придавило грудь.

— Там, в верхнем конце забоя труп,—сказал Штрассер.—Раздавлен глыбой.

Вдвоем с Костецким они пополз и в конец забоя и вытащили из-под угольных глыб человека. Он еще дышал, но видимо доживал свой последний час—мычал и всхлипывал в забытьи.

Помочь ему шахтеры не могли. Только Костецкий оторвал от блузы лоскут, помочил в воде и положил на лоб раздавленного.

Из другого конца забоя приползли еще трое шахтеров. Они обошли на четвереньках все свободное пространство—выхода не было. Никакой щели наружу, никакой лазейки. Семеро шахтеров попали в черный угольный мешок.

— Что делать?

— Ждать.

— А чего ждать?

— Пока нас откопают...

— Или пока мы подохнем..

— Может и подохнем.

Диц кашлял и пил воду, черпая ее пригоршней с пола. Раздавленный шахтер стонал в углу. Остальные сидели, обхватив колени.

Сколько прошло времени—никто не знал.

Два часа.

День.

Двое суток.

В каменном мешке стало душно.

— Мы выдышим весь воздух,—сказал Штрассер.

У Дица начался бред. Он пел померанскую песню. Есть никто не хотел, потому что все хотели пить. Но на полу уже не было воды. Штрассер клал в рот холодные осколки угля, — не помогало. Раздавленный шахтер умер.

Костецкий пополз вокруг стен, выстукивая угольный пласт. Он даже не понимал, зачем стучит. Он просто бил в стену обломком угля.

— Сдохнем здесь,— закричал Штроссер, срывая с плеч блузу.— Скажите моей жене!

Внезапно Диц очнулся и сказал:

— Некому будет разговаривать с твоей женой.

Когда снаружи пробили ход в за-

валенную шахту, шахтеры лежали в забытьи. Они пробыли под землей шесть суток. Их вынесли наверх на руках.

И вы думаете, их отправили в санаторий? Дали отпуск? Выдали пособие? Нет, управление копями отказалось даже выдать им зарплату за шесть дней, которые они пробыли под землей!

— Они не работали это время, — сказал директор.—За что же им платить?

3. ГОЛУБИ МИРА

Сенатор Джефферсон — признанный пацифист. Его жизнь состоит из речей и банкетов. Он говорит на многолюдных собраниях и в узком кругу таких же, как и он, сенаторов.

Речи на собраниях стенографируются и печатаются в газетах. Сенатор любит такое начало:

„Великая американская демократия охраняет мир и спокойствие всего мира. Мы посылаем во все страны голубей мира с призывом к общему труду и прогрессу".

Речи сенатора Джефферсона в узком кругу никогда не стенографируются, и в этих речах он говорит на совершенно другие темы.

У сенатора — двойная жизнь, он устает от нее и боится, что в один прекрасный день он все перепутает и на многолюдном собрании заговорит не о голубях мира, а совсем о другом.

Сенатор Джефферсон даже видел кошмарный, мучительный сон. Ему снилось, что он выступает перед многочисленной толпой на площади. Он подымается на трибуну и откашливается перед микрофоном,—его речь будет передаваться по радио.

Толпа замерла.

Сенатор начинает речь:

— Великая американская демократия охраняет мир и спокойствие всего мира. Наш уважаемый изобретатель Барлоу изобрел самодвижущийся снаряд.

У сенатора волосы поднялись дыбом. Он перепутал, начал не ту речь, но не может остановиться:

— Рядом со снарядом Барлоу дальнобойные орудия и бомбовозы кажутся невинными игрушками. Снаряд Барлоу можно начинить взрывчатым веществом или ядовитым газом и послать в любом направлении на расстояние в полторы тысячи километров. Мы можем бросать такие снаряды через океан. Каждый снаряд весит сто килограммов и управляется по радио. При помощи такого изобретения мы можем стереть с лица земли любой город на любом расстоянии в двадцать четыре часа...

Сенатор проснулся, обливаясь холодным потом.

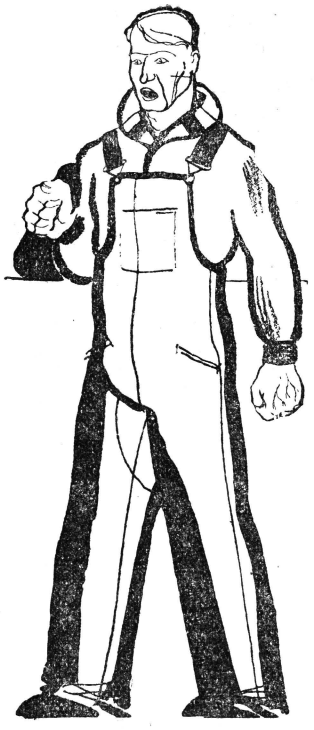
Хорошо, что это во сне.

Утром он поехал вместе с другими сенаторами на испытание снаряда Барлоу.

Перед началом опыта сенаторы присягнули, что все виденное они сохранят в тайне.

Когда испытание закончилось, сенатор Джефферсон должен был произнести очередной спич. Он поднялся с кресла, важно откашлялся и начал. На этот раз он перепутал речь наяву.

— Мы призываем человечество к общему труду и прогрессу. Наши призывы разнесут по свету голуби мира,—и сенатор величественно указал на модель снаряда Барлоу.



А. РОЗЕН

Рисунки В. СВЕШНИКОВА

СЕСТРА ШТРЕЙКБРЕХЕРА

1

На столе, за которым неровным ломаным кругом разместился президиум, снежных хлопьями лежали записки. Один из членов президиума развертывал их и, поднося совсем близко к близоруким глазам, прочитывал. Затем, положив снова на стол, брался за перо и аккуратно подправлял написанное неразборчиво. Часть записок он вежливо подвигал своему соседу справа, полному пожилому мужчине с куполообразной лысиной.

Остальные собирались в кучку. Это были записки, которые никак не могли интересовать соседа справа и на которые тот, как председатель собрания, отвечать был не обязан. Это были записки типа: „почему председатель не выборный?“, „Почему в зал не пустили членов компартии?“, „Предлагаю вывести из президиума Кригена, — у него у самого акции общества“.

Некоторые записки, написанные очевидно просто из озорства или хулиганства, рвались и, безнадежно тлея, выглядывали из наполненных доверху папиросами пепельниц: „Ромбах — ренегат и негодяй“, „После собрания надо спеть Интернационал“, и наконец весьма лаконичные: „Ротфронт!“.

Волны исходили от господина Флейшица — докладчика, члена окружного комитета социал-демократической партии. Каждая фраза, каждое слово подымало новую волну, которую надо было сдерживать, регулировать, направлять. Положение Ромбаха в значительной степени напоминало положение полицейского во время прохождения людной и шумной демонстрации. Бронзовый председательский колокольчик с успехом заменял полосатый жезл шуцмана, отсутствие огнестрельного оружия компенсировалось самим положением, — господин Ромбах был председателем объединенного профсоюзного комитета трех шахт „Мария“, „Птичка“ и „Эхо“.

Положение Ромбаха еще более усложнилось, когда был закончен доклад и господин Флейшиц, раскланявшись на жиденький плеск аплодисментов и отирая выступившие капельки пота, собрал с пюпитра мелко исписанные листки и сел за стол президиума. Собрание было профсоюзное. Не-члены профсоюза на собрание не допускались. Тем, кому угодно было выступить, должны были подписывать свою фамилию на бумажке с просьбой дать слово. Казалось, будет не сложно. Господин Ромбах знает весь зал по фамилиям. Он будет давать слово, ловко лавируя между ними.

Случилось иначе. В зал набралось много незнакомых лиц, а с ними вместе и записок. „Прошу слова — Якобсон“. „Прошу слова — Френц“. Господин Ромбах нервничал. — Кто этот Френц? Кто этот Якобсон?

После нескольких, совершенно надежных людей Ромбах выпустил наконец фамилию ему незнакомую: „Левифиан“. Но когда тот вышел на трибуну, господин Ромбах растерялся от неожиданности.

Геркен! Коммунист Геркен... Его ли не знать председателю профсоюзного комитета?

Господин Ромбах, аккомпанируя себе колокольчиком, закричал:

— Я вам не давал слова. Слово предоставляется господину Левифиану.

Геркен засмеялся:

— „Левифиан“ — это название американского судна. А что до меня, то говорить я буду, несмотря на то, что для этого мне пришлось прибегнуть к маленькой хитрости.

Зал ответил хохотом, заглушая колокольчик. Геркен покрыл хохот внушительным басом взрывающих слов.

Это была злая шахтерская речь против социал-демократических полицейских в форме и в штатском, против развязного лепетания Флейшица о рабочей помощи обществу, „находящемуся в столь стесненном финансовом положении", за революционный отпор снижению заработной платы, за Ротфронт, за революционный красный фронт всех шахтеров.

Ромбах продолжал нервничать. Он знал: волны настроений исходят сейчас от Геркена. Зал притих, и это — признак нехороший. После Геркена будут выступать иначе. Он знал: будут выступать за забастовку.

Правая рука Ромбаха привычно перебирала записки. Что это? „Прошу дать слово — Эллен Штегер". Ему сейчас же вспомнилось, как Пауль Штегер, член профсоюзного комитета, человек более чем надежный, позавчера, на вечере в спортивном клубе говорил ему: „Я не знаю, право, совсем не знаю, что мне делать с сестрой? Эллен становится невозможной. У ней взгляды коммунистки".

Бурным прибоем разорвались аплодисменты, покрыв геркеновское: „да здравствует Ротфронт". Надо было охладить зал. Слово было предоставлено маленькому старичку из президиума, прошамкавшему с трибуны все, только что сказанное Флейшицем. Зал притих еще более, и Ромбах чувствовал, как зал набирает силы. Его продолжала беспокоить Эллен Штегер. После того как кончил старичок, Ромбах наконец решился. Он поднялся с места и заявил:

— Господа, одна женщина просит у меня слова. Эта женщина — не член нашего профсоюза и вообще не работает в шахте. Насколько мне известно, эта женщина — швея. Конечно, если бы у нас было публичное собрание, дело другое, я бы дал ей слово; но так как у нас сегодня собрание исключительно членов профсоюза, я слова не даю.

Но здесь Ромбах ошибся. Он недооценил размера волны, которая оттолкнулась от Геркена.

— Пусть скажет женщина! — послышались выкрики.

— Она швея, но ее брат — шахтер, ее отец — шахтер, ее муж — шахтер. Пусть скажет, сможет ли она прокормить семью на зарплату, которую предлагают общество и господин Флейшиц.

И еще одного обстоятельства недооценил господин Ромбах — самой подательницы записки. Ее голос, вынесенный на гребне хлынувшей волны, господин Ромбах отчетливо услышал рядом с собой...

Бывает так: соберутся люди решать важное, но у каждого это важное уже решено. Как ни рассыпается чужая мысль, она встречает плотную стену принятых уже каждым решений. И когда всплывает оно над людьми, — единое, накопленное временем, вымученное трудом решение, — люди чувствуют огромное облегчение.

Так случилось на „объединенном профсоюзном собрании шахт „Мария", „Птичка" и „Эхо". Геркен дал этому решению осязаемые желанные формы. Эллен Штегер говорила уже при радостном возбуждении всех, чье решение было твердо: „забастовка".

Эллен Штегер — девятнадцатилетняя девушка-швея, сестра Пауля Штегера, социал-демократа, члена профсоюзного комитета, сказала совершенно четко то, что было осознано ею:

— Забастовка!

II

Эллен Штегер работала на единственном в шахтерском районе текстильном предприятии „Фабрика готового платья братьев Крумм", — предприятии, снабжающем одеждой шахтеров всего округа. Эллен была ростом с брата, крепкая, с большими мускулистыми руками, контрастирующими с продолговатым, исключительной белизны лицом, на котором пятнами выделялись глубокие впадины глаз. Старуха-мать любила ее без памяти и огорчалась постоянными ее ссорами с братом.

Ничего не понимая в сущности этих споров, она улавливала лишь отдельные выражения и прозвища, которыми Пауль Штегер награждал свою сестру. Еще года два назад это были просто „сумасшедшая девчонка", потом начались: „дурацкие идеи", „я у тебя выбью это"; последние месяцы стало серьезнее: „ну, и поезжай в Москву", „я тебе покажу борьбу", „большевистский мусор..."

На последнее мать слышала, как Эллен совершенно спокойно сказала: „Это ваша личное мнение, что ваша сестра — просто мусор, а вот предателем называют вас все, кто видел ваши подвиги в девятнадцатом и в двадцать третьем годах".

Старуха притихла, ожидая взрыва бешенства, но Пауль, у которого кровь отхлынула от лица, потоптался с минуту на месте и, оглушительно хлопнув дверью, вышел. Домой он пришел поздно и сильно выпившим.

... В этот вечер, после собрания шахтеров по поводу снижения обществом заработной платы, брат и сестра пришли домой врозь, но в одно и то же время. Дымившаяся на столе кастрюлька издавала запах свежего картофеля, смешанного с зеленым луком.

Пауль и Эллен молча сели за стол. Эллен с жадностью молодости, оживленная собранием, первым собранием, на котором она выступала, набросилась на еду. Пауль взял в руки вилку и молча посмотрел на сестру. Мать хлопотала около него.

По скрюченным пальцам, которыми Пауль засовывал за воротник салфетку, мать угадывала нарастающий приступ ярости. Однако приступа не последовало. Брат и сестра обменялись лишь короткими отрывистыми фразами:

— Может быть вы теперь пойдете в горничные к Геркену?

— Шахтеры горничных не держат.

— Ваше выступление в пользу забастовки — позор!

— Разве рабочие считают позором объявление забастовки, когда им навязывают голод?

Пауль Штегер засопел и, с шумом отодвинув тарелку, крикнул:

— Забастовке не бывать, это говорю я, Пауль Штегер. Я отвечаю за лаву № 8, лава № 8 ответит мне за всю „Птичку", „Эхо" и „Мария" будут действовать без „Птички".

Он так же шумно отодвинул стул и ушел к себе в комнату, отделенную от столовой, где спали мать и сестра, фанерной перегородкой.

— Вот идет штрейкбрехер!

Эллен, задумавшись, машинально помогла матери убрать со стола, вымыла посуду. Когда она собралась ложиться спить, за перегородкой уже раздавался свистящий храп Штегера.

Мать укладывалась долго, старчески кряхтя и охая. Наконец и она заснула.

Эллен сидела на кровати не раздеваясь и неустанно обдумывала одно и то же. Завтра — день, когда должна быть объявлена забастовка. О! Эллен хорошо знает брата. Он достаточно ловко умеет подтасовывать факты, он пользуется еще немалым доверием в своей лаве, в своей шахте. Если забастовка будет сорвана...

Эллен снимает туфли, тихо отодвигает ширму, так же тихо пересекает комнату, направляясь к брату. Мать спит, тяжело запрокинув голову назад. Темно. Но Эллен прекрасно знает, где лежит платье Пауля. Шахтерский костюм аккуратно приготовлен на стуле. Эллен нащупывает в кармане пропуск. Вот кэпи. Фонарь. Скорей к себе за ширму.

Эллен лихорадочно раздевается и прячет свое платье под подушку. Эллен надевает шахтерский костюм, кэпи, фонарь в руки. Как стучат сапоги! Скорей на лестницу!

Половина третьего ночи. Ждать еще три часа. План обдуман весь. Раньше всех Эллен будет у клети. Раньше всех спустится в шахту. Хорош будет брат, проснувшись утром, без костюма и пропуска. Да еще в клети поставили нового мальчонка, который никого из шахтеров не знает в лицо. Он никогда не пропустит Штегера без пропуска. Эллен смеется, но смех застревает в зубах. Холодно. Эллен сидит на ступеньках лестницы и ждет.

Эллен ждет три часа. Затем она выходит на улицу. Туман и страшная сырость. Газ дрожит в фонарях. Эллен, подражая походке брата, шагает к клети — спуску в шахту. Молча отвечает на приветствия.

Самый опасный момент — в клети. Высоко подняла воротник. Кэпи сдвинула глубоко на лицо. Руки в карманах. Глубокий вздох облегчения: она в шахте.

Эллен задерживается в штольне. Прислушивается к разговорам. Вот совсем близко от нее стоит Геркен. Он оживленно беседует с шахтерами, не замечая „Пауля“ Штегера. До Эллен доносится:

— Не приступать к работе.. Если лава № 8 не подведет, то...

Лава № 8 подведет? Когда Эллен подходит к лаве, шахтеры уже в сборе. Через десять минут начало работы.

— А, Штегер!

Старик-шахтер подошел к Эллен, сжал руку. Нужно ли продолжать маскировку? Эллен рывком снимает кэпи.

— Товарищи!

Девушка в лаве. В костюме Штегера. Мельком пронеслось в головах вчерашнее собрание. „Женщина просит слова. Я отказываюсь дать слово“. Женщина на трибуне. Шорохом по залу: „Это сестра Штегера“.

— Где Штегер?

— Штегер? — Эллен насмешливо пожимает плечами. — Пауль Штегер мечется в поисках своей одежды. Впрочем, он наверное уже в управлении и вытребовал пропуск в шахту. О! ему этот пропуск выписали спешно. Настроение шахты хорошо известно. Известно также, что Пауль Штегер блестяще предает дело шахтеров...

— Предает?

Эллен передает только то, что знает. И ночь, которую провел капитан отряда в комнате Штегера, и другие вечера и ночи, проведенные Паулем Штегером вместе со своим другом Ромбахом.

В семь часов утра еще ни один шахтер лавы не взял в руку кирку. И когда добежало до лавы взволнованное:

— Товарищи, не начинать работы, — лава № 8 присоединилась к людскому потоку, стремящемуся по штольням к выходу...

... Каждая клеть выталкивала на поверхность земли новую партию стачечников. Одна из клетей поднята наверх лаву № 8. Всю, за исключением старшего рабочего лавы, Пауля Штегера. Вместо него вышла девушка в шахтерском костюме.

Она приложила руку ко лбу, как бы выискивая кого-то.

Наконец она нашла то, что хотела. Подавшись всем корпусом вперед, она вытянула руку и, пальцем указывая на бегущего к шахте человека, закричала:

— Вот идет штрейкбрехер! Вот идет штрейкбрехер!

Пауль Штегер подошел совсем близко к сестре, которую окружала лава № 8, та самая лава, которая должна была „ответить за всю шахту „Птичка“.

Пауль Штегер задыхался. Злоба парализовала его язык. Наконец он выдавил:

— Ты... красная сволочь... коммунистка... ты...

Тогда Эллен очень спокойно ответила:

Ну да, я коммунистка!

— Ты... красная сволочь... коммунистка...

НАША ротация НАШ линотип

Д. СЛАВЕНТАНТОР

Над миром раскинута огромная мембрана. Ухо мира слушает... Оно жадно впитывает беззвучные шумы в эфире, быстро улавливает сухой треск азбуки Морзе, схватывает каблограммы.

Дрожат пластины мембраны... Они передают шумы мира туда, внутрь здания, где работает редакция. И тогда легкие колебания пластин начинают звучать все сильнее. Амплитуда их колебаний все увеличивается. События заговаривают громким голосом, события начинают кричать. Редакции транслируют события на валах своих чудовищных ротационных машин, всеми колонками и шрифтами своих полос, всеми сотнями миллионов экземпляров своих тиражей.

И тогда оказывается, что уши редакций настроены на разные волны, и улавливают они разные шумы и по-разному транслируют их.

I. ГАЗЕТА — СЕГОДНЯ — У НИХ

Это огромные фабрики лжи. Это — фабрики, объединенные в целые концерны лжи. На смену кустарному станку пришел аггрегат. Плоскую машину раздавила ротация. Ножницы, клей, почтовое письмо подкреплены рамой антенны, сетью телеграфных проводов, батареей телефонных аппаратов.

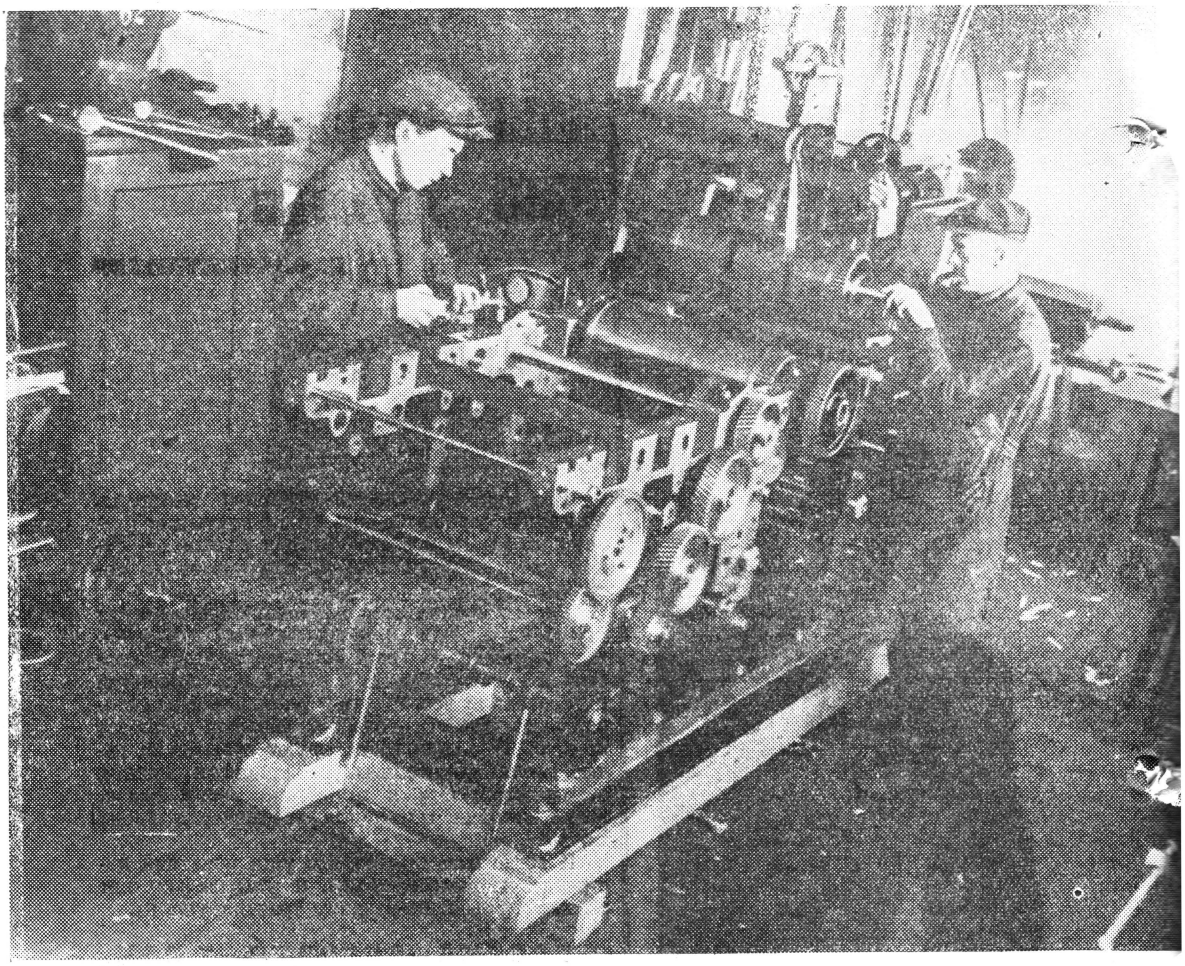
...Вот стоят они в кварталах столиц — эти фабрики лжи. Над четырехугольными утесами своих зданий они выкинули, как знамя, невидимые мембраны.

Лондон. Флитстрит. Квартал газет „Дейли мейль", „Дейли экспресс", „Оф-уорлд", „Дейли кроникль", „Уикли диспетчер".

Редакция „Дейли мейль" построила „дом имени Нортклиффа", знаменитого министра пропаганды во время империалистической войны, прожженного газетного дельца. Прямые провода с Парижем, Манчестером, парламентом, спортивными стадионами. Газета выходит одновременно в трех городах: Лондоне, Париже. Манчестере. Кроме того на крупнейших трансатлантических пароходах. Три миллиона ежедневного тиража.

Она ненавидит Советский Союз. Когда по умелой указке вспыхивают дикие кампании клеветы, „Дейли мейль", как неутомимая гончая, несется вперед, уткнув морду в землю. „Дейли", ату! Она хорошо знает запах нефти и следы, ведущие к нефтяному тресту „Ройял Дейтш".

Деньги не пахнут... даже нефтью, и поэтому никто не сможет доказать, что раньше, чем попасть в контору редакции, они побывали в руках сэра Детердинга, владетельного короля



Первая советская ротационка, изготовленная на заводе им. Макса Гельца.

нефти. „Дейли мейль“ — верная собака. Она верна своему господину.

Кто опубликовал мифическое письмо Зиновьева? „Дейли мейль“. Кто улюлюкал, когда рослые полисмены громили помещение „Аркоса“? „Дейли мейль“. Кто рассылал по Лондону, по всему острову плакаты: „не покупайте советской нефти“? „Дейли мейль“. Кто кричит о „красном империализме“, когда индусы не выдерживают тяжести железной пяты империи и идут в отряды краснорубашечников? Все она!

Она — защитница религии. Она — за дом, за семью, за чинное воскресенье. Читайте „Дейли мейль“! Читайте ее, если вы хотите, чтобы добрая Англия оставалась „владычицей морей“!

Германия. Газетный концерн Гугенберга. Собственные газеты. Собственные журналы. Это — рупор националистов. Их пропаганда скользит между строк детективного романа. Она незаметно пропитывает фельетоны. Она — в передовых статьях. Это — массовая пропагандистская продукция. У концерна свое телеграфное агентство. Свое бюро фельетонов. Свое бюро романов. „Дирекция, не жалея затрат...“

Ульштейн. Тоже концерн. „Моргенпост“ — газета с самым большим тиражем в стране — это его газета. „Берлинер иллюстрирте цейтунг“ — самый крупный еженедельный журнал — это его журнал. Собственное телеграфное агентство. Более двухсот сорока постоянных корреспондентов. Свой прямой провод с Парижем, Лондоном. Свои газеты и журналы в провинции.

Газетные фабрики работают бешеными темпами. Вот редакция „БЦ“. В 11 час. 35 мин. редакция дает отбой. Баста. Типография больше не примет ни строки. Начинается верстка. Запомните! 11 час. 35 мин. А в 11 час. 40 мин. — через пять минут — ротация выбрасывает первые экземпляры газеты. В 12 час. над Берлином гудят аэропланы: „БЦ“ пошла в провинцию.

Нью-Йорк. Здесь сосредоточены левиафаны газетной промышленности. Крупнейшие нью-йоркские газеты уже не имеют возможности громоздить этаж над этажом своих типографий. Это — уже не выход. В густом потоке дневного уличного движения нетерпеливым машинам экспедиции не пробиться быстро в отдельные районы. Крупнейшие нью-йоркские газеты предпочитают по районам города сооружать печатные отделения.

Каждая газета — книга. Нет возможности полностью прочесть ее. В среднем на каждую нью-йоркскую газету приходится ежедневно сорок две страницы (1925 г.). Воскресные номера „Нью-Йорк таймса“ — двести страниц. Из них добрая половина — объявления.

„КУПИ МЕНЯ“

Газета бежит за прохожим. Она хватает его за полы пиджака. „Купи меня!“ Она придумывает тысячу ухищрений, чтобы привлечь его к себе. Она ничем не гнушается. „Дейли мейль“ страхует своих подписчиков от железнодорожных крушений. Тридцать шесть тысяч фунтов стерлингов выплачивает она в 1924 г. за сто тридцать два крушения. Игра стоит свеч. Расходы себя окупят. „Дейли скетч“ устраивает конкурс на лучшего ребенка Англии. Двести шестьдесят четыре тысячи матерей хотят, чтобы их ребенок был лучшим в Англии. В кассу редакции идет шелестящий поток денег. Издатели потирают руки. Хорошая идея!

В один прекрасный день парижский „Матэн“ начинает печатать приключенческий роман. Головокружительные трюки. „Продолжение следует“.

„Журналь“ — одну из крупнейших газет Парижа, подкупленную, кстати, немецкими шпионами в 1914 году, обуяла зависть. Что мы — рыжие? „Французы, кто отгадает, сколько пшеничных зерен содержится в литровой бутылке?“ Угадавшему — читателю „Журналь“ — премия. Но „Матэн“ не так-то легко сбить с позиции. Она объявляет новые премии для своих читателей: автомобили, рояли, загородную дачу. „Матэн“ устраивает авиационные состязания и премию в сто тысяч франков выкладывает золотыми монетами на блюде в витрине. У нас без обмана!

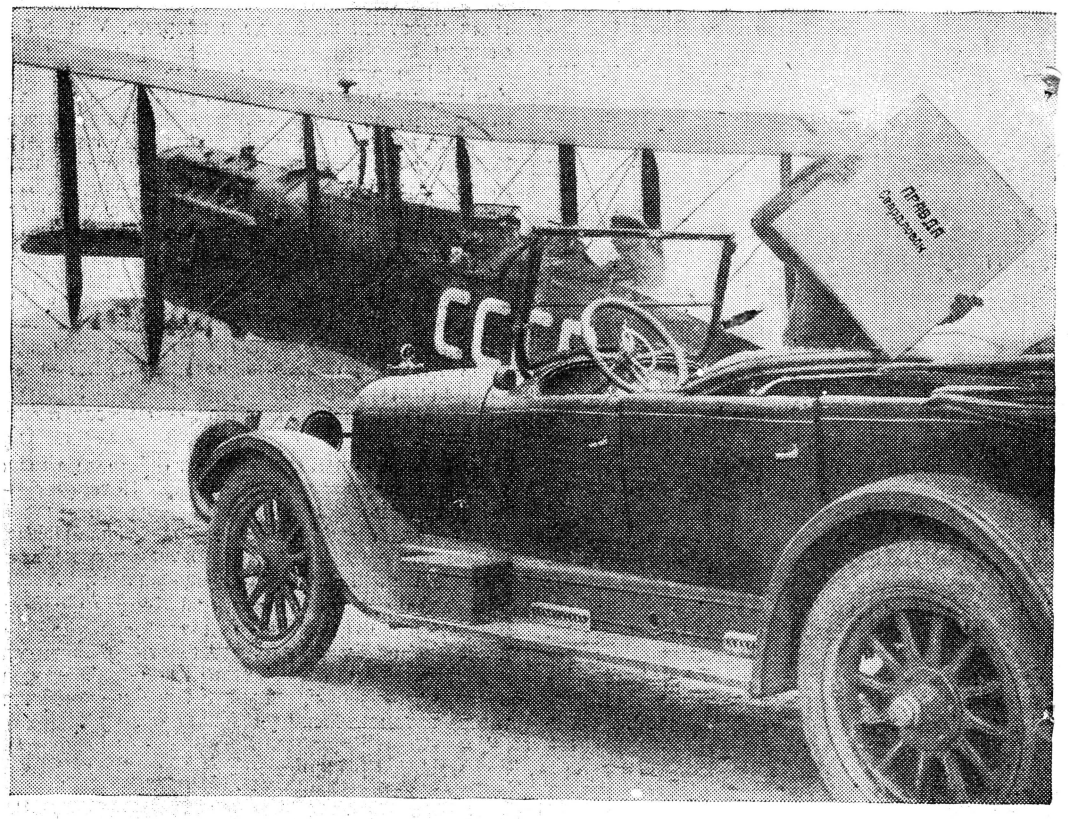
...У Петерсона денег куры не клюют. Петерсон ищет прибыльного дела. Выпускайте иллюстрированную газету. Петерсону идея нравится. В Чикаго одну газету „Трибун“ он уже имеет. Теперь у него будет „Чикаго дейли ньюс“. Он покупает людей, бумагу, машины. Он бросает газетный снаряд. Триста тысяч экземпляров расходится в первый же день. Всесильный газетный король Херст мечет громы и молнии. Между ними начинается схватка. Херст устраивает в одной из своих газет лотерею. В каждом номере ее — лотерейный билет. Приходите в контору редакции и получайте премию, если она выпала на ваш билет. Первый выигрыш — тысяча долларов.

— Десять тысяч долларов,— отвечает газета Петерсона.

В городе — психоз. У газеты Херста тираж увеличивается на двести тысяч. У Петерсона — на триста тысяч. Второй этап борьбы. Петерсон объявляет: „Наша газета в честь Нью-Йорка, величайшего города в мире, назначает первую премию в пятнадцать тысяч долларов“.

Пятнадцать тысяч долларов? Херст назначает премию в двадцать тысяч долларов. Петерсон делает царственный жест: двадцать пять тысяч долларов. Кроме того, „если какая-либо газета объявляет более крупный выигрыш, то наша газета автоматически удваивает ставку“.

типографии, где печатается „Правда“. Первый пробный оттиск с набора



Самолеты отправляют матрицы „Правды" в различные концы Советского Союза. Там с них отольют стереотипы и будут печатать газету тут же, на месте.

Следующая неделя: у Херста — четыреста тысяч, у Пётерсона — пятьсот тысяч новых подписчиков. В пылу битвы несколько газет, не пискнув, скончались, несколько — еле дышат. Читателям выплачено около миллиона долларов. В газетах почти не печатается редакционный материал. Идет одно перечисление выигрышных билетов.

Но довольно... Где мы с вами очутились? В какой сумасшедший дом мы с вами попали? Почему не посадят за решетку этих людей, сознательно создающих массовый психоз?

III. ЛИНОТИП И РОТАЦИЯ — КИТЫ ГАЗЕТЫ

Но заглянем внутрь газетной фабрики. Где ось этой гигантской машины, фабрикующей ложь, заполняющей ею улицы городов и деревень капиталистического мира?

Улица. Квадратный утес небоскреба редакции. Железобетонный каркас здания срезан. Сквозь каркас крупным планом проступают, блестя металлом частей, линотип и ротация. Это они — ба а гиганта-газеты. Линотип — наборная машина. Ротация — печатная машина.

Руке наборщика не угнаться было за новыми темпами. Рано или поздно должна была притти машина. И она пришла. Машина часового мастера из Балтиморы, Оттомара Мергенталера. Линотип.

Десятки конструкторов бились над тем, чтобы механизировать набор. Десятки конструкций всплывали на поверхность и, потерпев неудачу, быстро шли на дно. Но накоплялся опыт. Назревала нужная форма машины. Эту задачу и разрешил Отто Мергенталер.

Он освободил типографию от огромных запасов шрифтов. Он заменил их комплектом плоских латунных пластинок (матриц). Он создал машину, которая в действительности есть комбинат машин. Одна машина автоматически набирает строку. Другая автоматически отливает ее. Третья разбирает матрицы. Линотипу незнакомо понятие—усталость. Он набирает от семи до девяти тысяч знаков в час, человек — полторы—две тысячи знаков в час. Обрастая магазинами — резервуарами латунных пластинок — линотип может „играть" различными шрифтами.

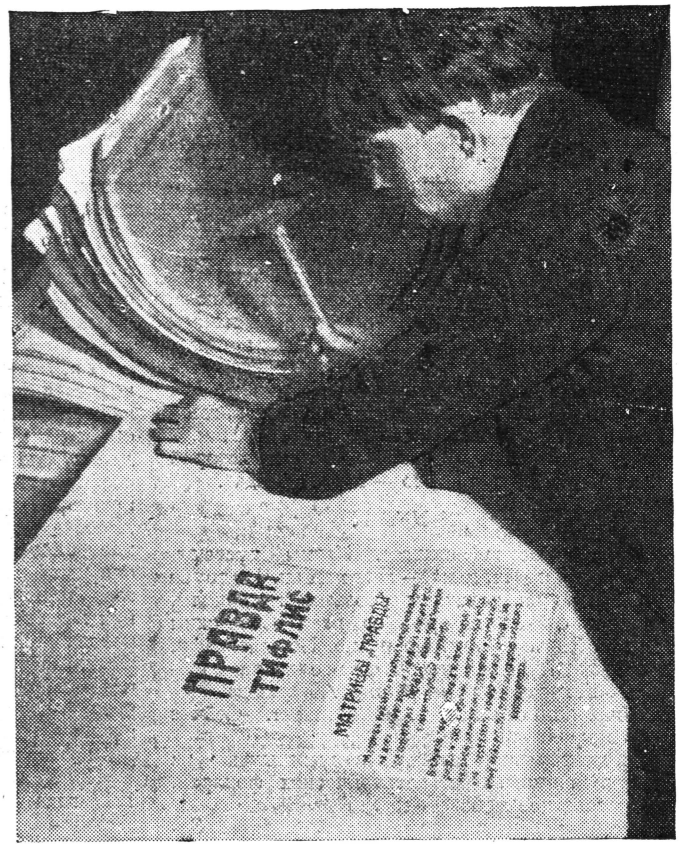
Скорострельные батареи линотипов готовы на лету подхватить сообщения и материализировать их в твердые строки линотипного набора. Материал в наборной кромсается на части, быстро распределяется по линотипам. Гони! Лязг, быстрые движения линотипных рычагов и — пища проглочена, линотипы ждут следующей порции.

Быстро набрать, освободить типографию от целых складов шрифта — это еще не все. Так же лихорадочно-быстро нужно и отпечатать его. В каких-нибудь три-четыре часа типография должна выбросить сотни тысяч экземпляров газет. Ведь почта и поезда ждать не будут. Читатель уже утром желает видеть у себя на столе свежую газету. И время толкает технику печатания и ведет ее от плоской печатной машины к ротации.

В 1846 году появляется первая ротационная машина Роберта Гоэ. Впервые человек применил вращательное движение при печатании. Это — революция. Но первая ротация — это еще только слабый проблеск огромных возможностей. Она еще печатает не со стереотипа, а с набора. У нее набор помещается на огромном цилиндре диаметром в четыре с третью фута. Для того чтобы он не рассыпался, применяется сложная система ухищрений. Это невыгодно и сложно. Но толчок дан. Начинается быстрое развитие ротации. Мощность их растет. Быстроходность увеличивается. Завод Гоэ две ротации сливает в одну — двухрольная ротация. Она проверты-вает сразу шестнадцать страниц. Это его не удовлетворяет. Он конструирует еще одну, с барабанами двойной ширины. Насаживает на них вместо шестнадцати — тридцать два стереотипа. Сразу тридцать две страницы провертывает эта ротомашина. Его конкурент — завод Госс — строит четырехрольную ротацию. Гоэ не сдается. Он выпускает восьмирольную.

Ротациям уже тесно в типографиях. Это уже огромные махины. Их трудно обслуживать. Дальше некуда. Тогда появляется блестящее конструкторское разрешение задачи. Ротация расчленяется на агрегаты. Агрегат можно включить в работу, можно выключить из работы. Мощность ротации достигает чудовищных размеров. Она без труда, при полной нагрузке всех агрегатов, выбрасывает сто пятьдесят тысяч экземпляров газеты в тридцать две страницы.

Работа идет и в другом направлении. Увеличивается число оборотов барабанов. Двенадцать тысяч оборотов в час. Пятнадцать тысяч, восемнадцать тысяч, и это — не предел. Инженер Вуд конструирует сверхбыстроходную ротацию. „Ультра-модерн". Двадцать пять тысяч оборотов в час. Скорость бумаги, увлекаемой барабанами — сорок пять миль в час. У Вуда ротация выбрасывает тридцать две страницы. Завод Гоэ строит такую же машину с двойными валами и выбрасывает уже шестьдесят четыре страницы.



Матрицы упаковываются для отправки в Тифлис.

ГАЗЕТА — СЕГОДНЯ — У НАС

По другую сторону границы работники советских газет ведут социалистическое наступление. Районы, совхозы, фабрики имеют свои печатные газеты.

Газета ойратов. Тюрков. Молдаван. Якутов. Японцев. На 65 языках и наречиях говорят, призывают, борются эти газеты.

Хлопковые плантации. В палатке под тентом слышится такт американки. Это — газета на колесах, — газета таджиков дерется за текстиль.

Сибирь. Здесь в гражданскую партизаны из орудий с деревянными дулами били по отрядам Колчака. Теперь их преемники на дребезжащих машинах районных газет дерутся за зерновые фабрики.

Хибины. Ночь. Вот уже 6 месяцев, как длится эта полярная ночь. Застывшие каменные волны гор окружают свинцовую чашу озера Вудъявр. Россыпь электрических огней в горах. Временами в невидимой вышине раздается грохот. Это по желобам сбрасывают вниз, к вагонам руду. В трех небольших комнатках стандартного домика — типография и редакция „Хибиногорского рабочего". Здесь не протиснуться. Работают, сидя по очереди. Машинистки нет. Материал от руки переписывается начисто двумя слесарями. В кассе наборной нет буквы „у". Редактор мучительно придумывает, как бы обойти эту проклятую букву. Он выискивает слова, в которых нет ее. Но думать нужно быстро. Каждый выход номера газеты — удар по неполадкам. И редактор находит слова без буквы „у" и газета верно наносит свои меткие удары.

Миргород. Где когда-то Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Энтузиаст-газетчик Рогозовский — миргородский редактор — сам становится к реалу и набирает свою газету. Он сам вертит колесо печатной машины. Он сам складывает газеты в мешок и — в деревню. Неделю нет Рогозовского, вторую неделю его нет. И вот он появляется с грудой крестьянских писем. Он их набрал во время распространения своей газеты. Он выправляет заметки, сам пишет статьи, вновь становится к реалу, вновь вертит колесо печатной машины и — опять в деревню.

Так работал советский газетчик на рубеже 1921—22 годов.

В глуби суровых лесов Архангельска на лесоразработках коллектив лесорубов в наскоро сколоченной бревенчатой избе выпускает газету. Эта газета вместе с тракторами впрягается в общую работу и тащит бревна к железнодорожным станциям и рекам. В забое газета вместе с шахтером бьется за каждую лишнюю тонну угля, у мартена — за каждую тонну стали.

Так, раскинутые по всем концам Союза, бьются десятки сотен советских газет. К началу 1931 года насчитывалось свыше тысячи одних районных газет. К ним примыкает боевой отряд печатных фабрично-заводских газет. Мы располагаем сведениями за 1930 г. Они говорят, что уже тогда их было полторы тысячи.

Их всех возглавляет газета, имя которой известно всему миру. Это — ЦО „Правда".

В ПУТИ

Вечер. Москва затихает. Улицы пустеют. В линотипной „Правды" — лязг машин. По трубе в наборную из редакции скользят материалы. „Правда" сейчас говорит со всем Советским Союзом. По телефону. По радио. По телеграфу. Полпреды „Правды" передают последние сообщения. Говорит Берлин, Лондон, Варшава.

Ночь. Линотипная тоже затихает. Сейчас слово получит ротация.

На центральном аэродроме выкатывают из ангаров машины. Свет электрических фонарей. Предрассветное небо. Холод.

К типографии подкатывает автомобиль. Захлебываясь мелкой дрожью, ворчит мотор.

Скорее! Ротация уже грохочет. Из типографии поспешно выходят люди. В руках — полуцилиндрические матрицы. Скорее. Небо уже совсем серое. Вой мотора. Хлопает дверца кабинок трех машин. Курс — на Ленинград. Курс на Харьков. Курс на Ростов.

И пошла „Правда" в разные концы Советского Союза. В типографиях Ленинграда, Харькова, Ростова все готово. Они ждут матриц. Сразу — в стереотипную на отливку, формы готовы и — на ротацию.

„Правде" — крупнейшей газете СССР, сильнейшему рупору партии —исполняется двадцать лет.

Ее путь развития далеко не похож на историю респектабельного „Таймса", который „раньше всего принадлежит Британской империи", — таков девиз этой газеты с ее основания. Нет, у „Правды" девиз другой. С ним она появилась, с ним она идет через революцию — и дальше: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

* * *

...1912 год. Волна рабочего движения. На Ленский расстрел рабочие страны отвечают мощными забастовками. Прага. Всероссийская конференция большевиков считает необходимым издание ежедневной рабочей газеты. Формируется редакция. Заграничный большевистский центр переезжает из Франции в Галицию. Здесь на скудные рабочие гроши создается фонд „Правды".

...Город спит. Бледные сумерки рассвета. Безлюдные улицы. Городовые на перекрестках. Одинокие фигуры с Выборгской стороны, с Московской заставы, Васильевского острова пересекают пустынные улицы. Они идут на Ивановскую — к „Правде". Это заводские рабочие. Они навьючивают на себя в экспедиции „Правды" тюки, еще пахнущие свежей типографской краской, и отправляются со своей ношей на свой завод. Эту почетную повинность рабочие устанавливают в порядке очереди, денег за доставку они не берут, они отдают их в фонд „Правды".

Доставка „Правды" в провинцию. Страх конфискации. И в одни города идут почтовые посылки — в таком городе у „Правды" есть свой человек. В другие города шлется багаж по железной дороге. Тоже на транспорте свой человек.

Так большевистской газете приходилось проникать в гущу масс. Ее номера конфисковывали, редакцию штрафовали, стереотипы сбрасывали с машин и разбивали в мелкие осколки. Девять раз в течение двух лет „Правда" меняла свое название. Сегодня „Правду" закрыли, через некоторое время появляется „Рабочая правда". „Рабочая правда" захлопнута — ее место занимает „Северная правда". Но с новым именем она жила. Под любым названием узнавали на заводе свою газету. В те дни маленькая редакция на Ивановской в Петрограде была центром революционного рабочего движения. Она воспитывала рабочего-большевика, она готовила человеческий фонд Октябрьской революции. Через „Правду" партия говорила со всем рабочим классом. Вместе с рабочими проходила она через забастовки, удары полиции и охранки.

Приближаются Октябрьские дни. 6 ноября 1917 года. Отряд юнкеров занимает типографию „Правды". Выпускающий отвечает: „Не признаю никаких указов, откуда бы они ни исходили, без санкции Военно-революционного комитета".

А комитет постановляет: „Типографии революционных газет — открыть. Почетная обязанность охранения революционных типографий возлагается на доблестных солдат Литовского полка и 6-го запасного саперного батальона".

А на следующий день „Правда" уже печаталась в одной из лучших типографий Петрограда, потому что Временного правительства не существовало. Произошел Октябрьский переворот. Страница истории перевернулась.

Вот путь большевистской газеты, „шефа" советской прессы.

„Правда" растет дальше. Все достижения полиграфии она использует, и не далек день, когда она догонит и перегонит по своему оборудованию капиталистические газетные фабрики. Наши районные газеты тоже должны получить подкрепление. Нужно вооружить их батареями ротаций (в первую очередь) и линотипов. В степь — ротацию. В лес — ротацию. Угольному району — ротацию.

НА ПЕСОЧНОЙ, 6-а.

В Ленинграде, на Песочной, 6-а стоит небольшой завод. Сюда приезжают учиться. В небольшой коробке трехэтажного заводского корпуса накоплен ценный опыт высококвалифицированных ленинградских металлистов. Они владеют искусством тончайшей обработки металла. Такой обработки, результаты которой проверяются цейсовскими измерительными приборами. Они умеют снимать слой металла толщиной в листок папиросной бумаги. Они знают высокое искусство монтажа хрупких, сложных механизмов.

И когда возник вопрос, кто же будет осваивать линотип — этот венец современного точного машиностроения, — выбор пал на завод точного машиностроения им. Макса Гельца.

На завод доставили несколько линотипов, только что прибывших из Германии. Это было далеко не лишним. Никто из работников завода никогда не видел их. Начиная от рабочих и кончая инженерами.

Заводские конструкторы произвели настоящую вивисекцию линотипов. Их разбирали на блоки. Блоки — на отдельные детали. Тогда оказалось, что в линотипе свыше 5000 деталей! Линотипы пытали огнем — испытывали металл, рассекали — изучали его строение. И вот он изучен, нанесен на рабочие чертежи. Чертежи отправлены в цехи.

Тогда возникли тысячи трудностей. Только изобретательность, блестящая выдумка и изворотливость работников завода дали возможность изготовить сложнейшие детали. Детали медленно проходили из цеха в цех для дальнейшей обработки. В январе 1932 г. с ужасающей определенностью обрисовались очертания плотины, преграждавшей путь обработке 300 деталей. Комсомол пошел на штурм ее и пробил брешь. Он выпустил путевки линотипа. К каждой детали была прикреплена такая путевка. Она указывала срок обработки и имя задержавшего их. Детали продвигались под наблюдением контрольных постов. Брешь в плотине все расширялась, и в нее хлынули широким потоком застрявшие детали. 5 февраля плотину окончательно размыло.

Кооперированные заводы задерживали отливки. Раз отлили котел на заводе „Вперед". Течет. Другой раз отлили. Течет. В чем дело? Позвали на завод литейщика и формовщика, работавших над ним. Пришли. В первый раз увидели линотип. Воочию убедились, для какой сложной машины они должны сделать котел. Отлили еще раз.

Тогда началась кропотливая работа. Она кончилась тем, что 1 марта 1932 года на заводе состоялся пробный пуск линотипа.

У линотипа человек. Его пальцы нажимают на клавишу—и из магазина, набитого, как стручок гороха зернами, выпадает матрица. Это—латунная пластинка, на ребре каждой вырезана буква. Матрица выпала из магазина и попала на бесконечный вертящийся ремень. Ее увлекло влево. У сборного элеватора — остановка. Тут матрица ждет, пока к ней не соскользнут по ремню остальные. Когда матрицы выстроились в отряд слов и формат строк выполнен, об этом сообщает с педантичной строгостью автоматический сигнальный звонок. Человек нажал на рычаг, и строка поднялась вверх. Запомните: только два раза рука человека принимает участие в процессе набора: первый раз, когда он касался клавиатуры, и второй раз, когда послал матричную строку вверх. Остальное делает сам линотип.

Матричная строка поднялась вверх. Потом автоматически — влево. И тут она очутилась перед отливным аппаратом линотипа.

Тогда к ней автоматически приблизилось отливное колесо и плотно прижалось к ней. Следом за отливным колесом, с тыла, подкатился отливной котел с клокочущим расплавленным металлом. От него к колесу — шейка. Нажим поршня в котле — автоматический нажим! — и металл из котла брызжет через отливное колесо в матричную строку, заполняет углубленные изображения букв и быстро твердеет. Все— дело нескольких мгновений.

Литейное колесо делает три четверти оборота, проводит отливное колесо мимо ножа, отбрасывает лишний металл. Выталкиватель продвигает ее через боковые ножи и — строка готова. Твердая, она еще хранит в себе тепло машины.

А что делается с матрицами, из которых отлита строка? Они отправляются в обратное путешествие к магазину. Чтобы вновь пойти на работу. Курс — на разборный аппарат. Элеватор, на котором они находились у отливного колеса, перебрасывает их вверх. Движение вправо — и они оказываются в особом канале. Тогда сверху машины, точно коршун, опускается над строкой рычаг, захватывает ее и стремительно подымается вместе со своей „добычей". Он подводит ее к верхней части магазина. И тогда каждая матрица отделяется одна от другой, захватывается тремя валами с червячной нарезкой и скользит над магазином. А в магазине для каждой буквы — свой канал. И когда каждая матрица, увлекаемая валами, доходит до верхнего отверстия своего канала, она срывается и попадает в свое жилище.

РОТАЦИЯ—ПЕРВЕНЕЦ.

Рядом, где происходило испытание первого линотипа, в соседней сборочной стояла другая машина советской прессы. Первая ротация системы инженеров Готмана и Михина.

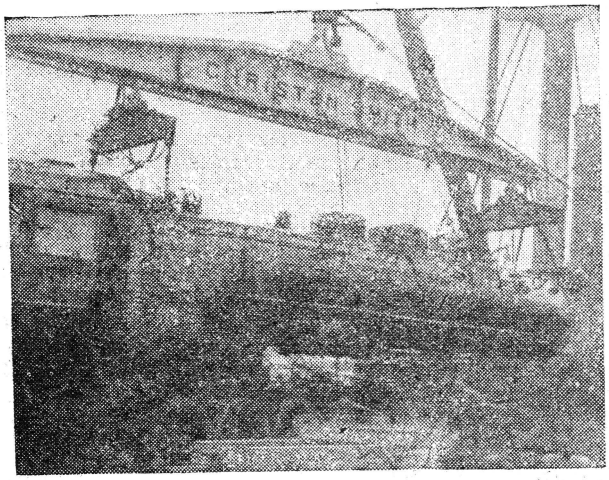
Новая советская ротация — меньше метра высотой. Ее вертящиеся барабаны наматывают в час шесть километров. Максимально использовано все пространство, занимаемое машиной. И в то же время к любой части ротации легко подойти, обслужить ее. Низ машины занят мотором, красочными аппаратами, верх — семью барабанами, расположенными в одной горизонтальной плоскости. Достаточно одному барабану притти в движение, как простая система передачи увлекает вслед за ним остальные, со скоростью ста шестидесяти семи оборотов в минуту. Она в час выбрасывает десять тысяч экземпляров газеты. Нужна листовка — она может выпускать листовку. Она выпускает брошюру.

Нельзя умолчать о трудностях, которые были преодолены для выпуска ротации. У завода не было соответствующего сложного оборудования, но он максимально использовал существующее. Ротация была изготовлена мастерски и блестяще смонтирована. Она весит две тонны. Обычная плоская машина весит семь тонн. По весу одна плоская машина — это три с половиной ротации. У плоской машины сложный механизм движения. У ротации — более простой.

Начало сделано. Первая ротация и первый линотип существуют. За ними пойдут другие. За спиной нынешнего небольшого завода стоит новый корпус полиграфических машин. Он скоро пойдет в ход. Это будет мощный резервуар, который будет снабжать нашу боевую прессу современным своим техническим вооружением.

Одна шестая

Доска — показатель борьбы за овладение высокой техникой на заводе „Севкабель" в Ленинграде.

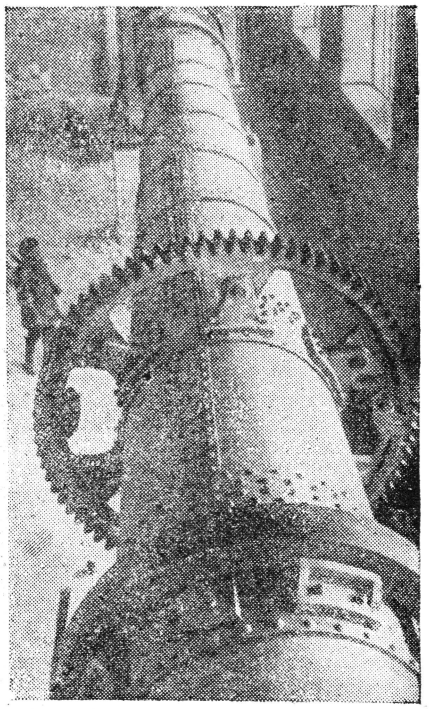


1. В Ленинградский порт прибыла заказанная в Америке партия сверхмощных паровозов. Эти паровозы будут использованы при проектировании нашего советского паровоза. По этому проекту на советских паровозостроительных заводах будет приступлено к массовой постройке таких паровозов.

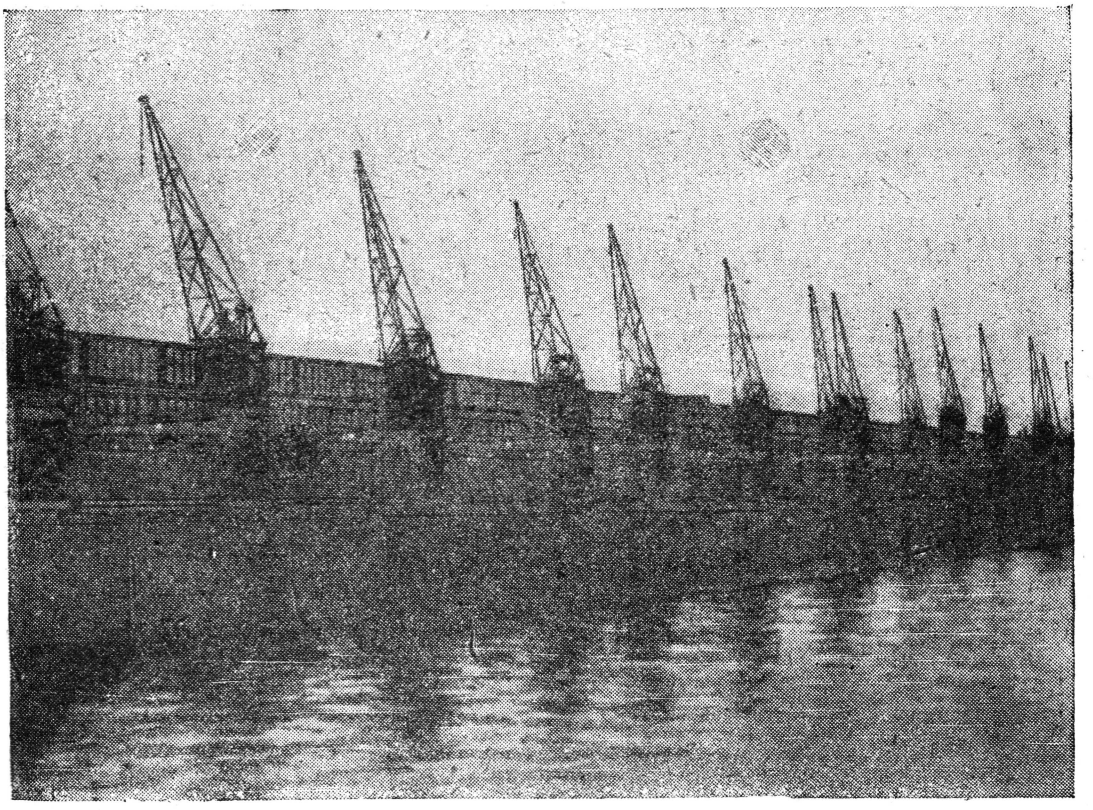
На снимке: Погрузка котла паровоза на платформу.

2. В Ростове-на-Дону вступает в строй новый ультрамариновый завод, второй в Союзе.

На снимке: Вращающаяся печь для прокаливания каолина, установленная в размолочном цехе нового ультрамаринового завода в Ростове-на-Дону.



Пять шестых

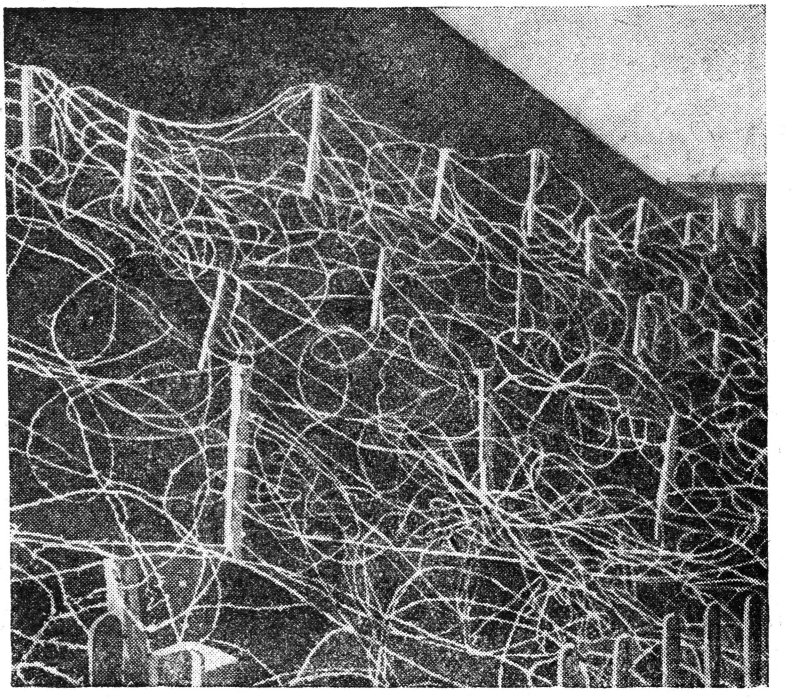


1. Гамбурге жизнь порта все больше и больше замирает. Пароходы стоят без погрузки. Верфи закрыты из-за неполучения заказов на строительство новых судов.

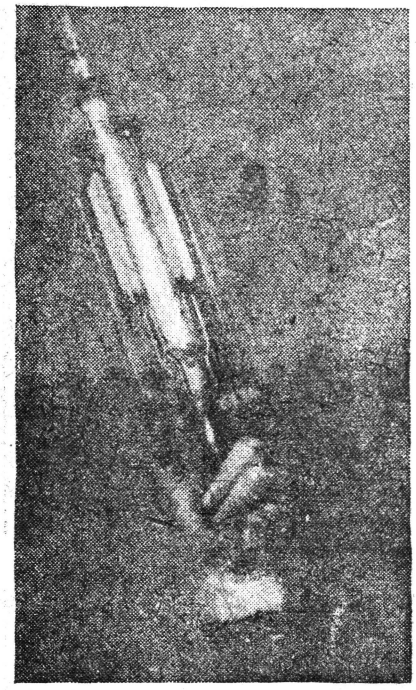
На снимке: Причал без кораблей.

2. Рурскую область часто называли „сердцем" тяжелой индустрии Германии. Теперь экономический кризис нарушил функционирование этого сердца. Всюду лежат колоссальные горы угля в 10—15 тыс. тонн. Хотя на этот уголь не найдется покупателя, капиталисты все же ограждают его проволочными заграждениями от замерзающих безработных.

На снимке: Горы угля, обнесенные проволочными заграждениями.



Одна шестая



ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ ИМПОРТА

1. В четвертом, завершающем году пятилетки краснознаменный завод „Светлана“ в своем производстве постепенно заменяет импортное сырье советским.

На снимке: Лампа, в которой тантал, ввозившийся из-за границы заменен советским никелем. Килограмм тантала стоит 1100 руб. никкеля — 7 руб.

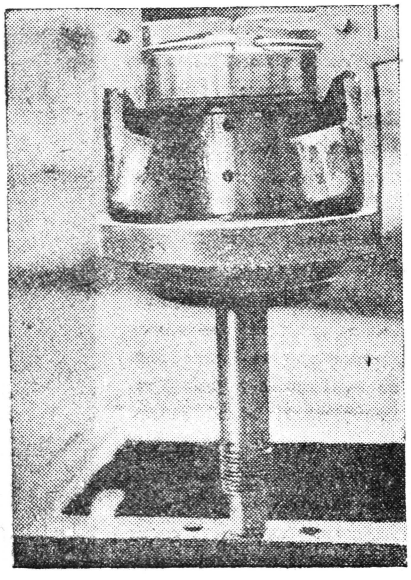
2. Стремим советские сверхтощные блюмингн.

На снимке: Формовка плети для изготовления частей третьего блюминга на Ижорском заводе.

3. **Бригадир комсомольской ударной бригады „Догнать и перегнать“ тов. Моторкый активный участник составления техпромфинплана (зав. „Светлана“).**

„Красный путиловец“ приступил к реализации предложения тракториста тов. Настенко о замене импортного тракторного регулятора системы „Кинготон“. Регулятор Настенко проще по конструкции и компактнее. Предложение регулятора Настенко дает заводу экономии 400 тыс. руб. золотом (каждый „Кинготон“ стоит около 8 долларов).

На снимке: один из первых регуляторов системы Настенко, выпущенный „Красным путиловцем“



Пять шестых

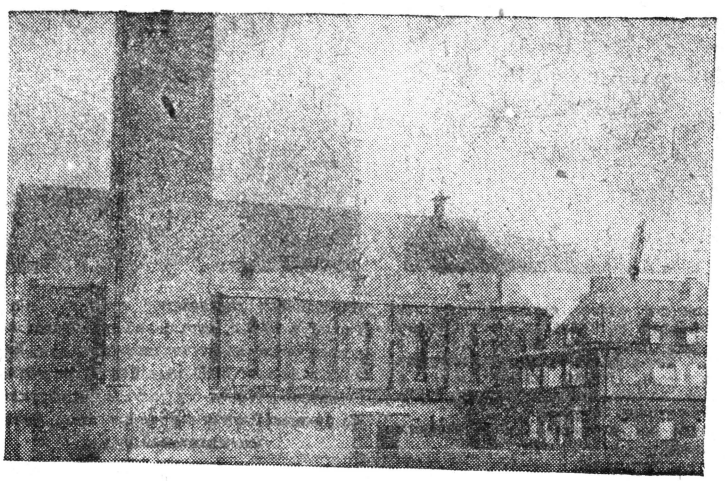
1. Негр Ли, приговоренный к смерти по ложному обвинению в убийстве. По сообщению американской секции МОПР Ли был после избиения насильно принужден не читая подписать признание, что он совершил убийство с целью ограбления.

2. В Германии, не имея средств к существованию, безработные вынуждены питаться отбросами, собирая их в мусорных ямах.

На снимке: Безработная женщина и ее ребенок ищут в мусорных ямах Берлина пищевые отбросы.

3. В результате экономического кризиса процесс пауперизации маконанского населения происходит чрезвычайно быстрыми темпами. Крестьяне распродают последние жалкие остатки своего имущества. В городах дети крестьян падают на улице от истощения.

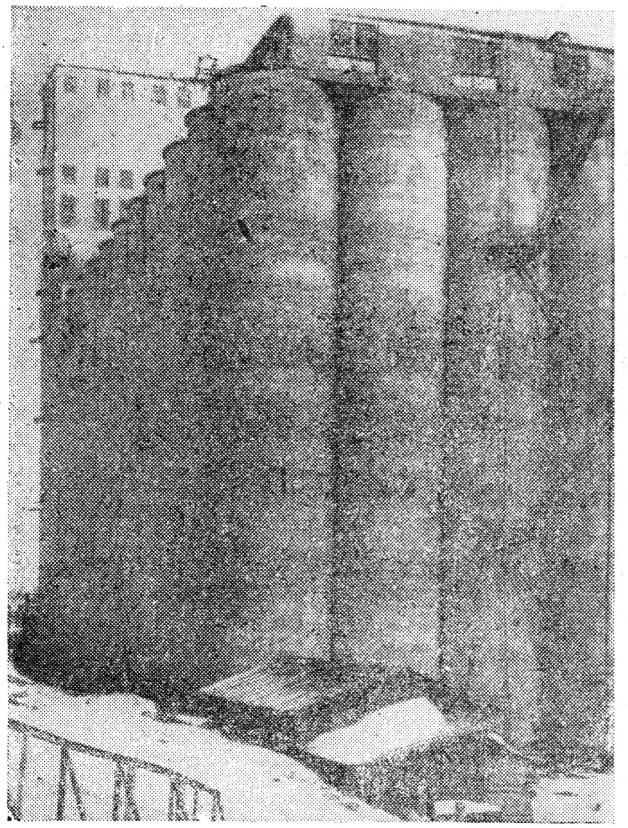
На снимке: На улицах города Мексико.



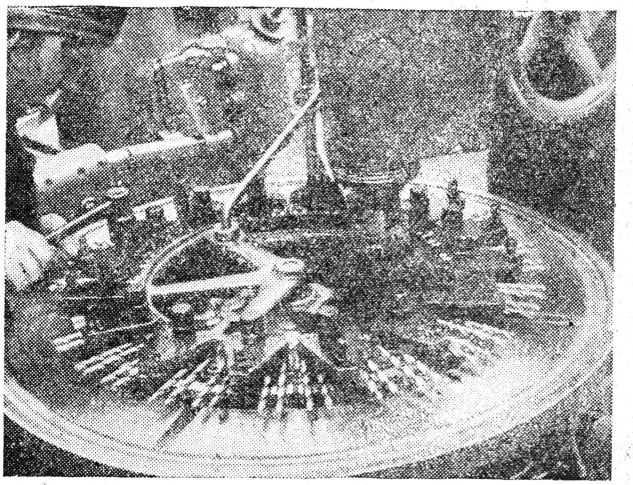
4. В Дюссельдорфе, крупном промышленном центре Германии, для многочисленных семейств безработных, выселенных из квартир, власти предоставили бывшие конюшни, в которых были размещены во время оккупации лошади французской кавалерии. В конюшнях страшное переуплотнение. Мужчины, женщины и дети находятся в одном помещении.

Отказывая в необходимой помощи безработным, городская управа почти рядом с баранами выстроила церковь и дом для священника.

Одна шестая



Элеватор емкостью в 50 тонн строится в Херсоне. Он будет самым большим в Союзе. Частично элеватор уже вступил в строй.

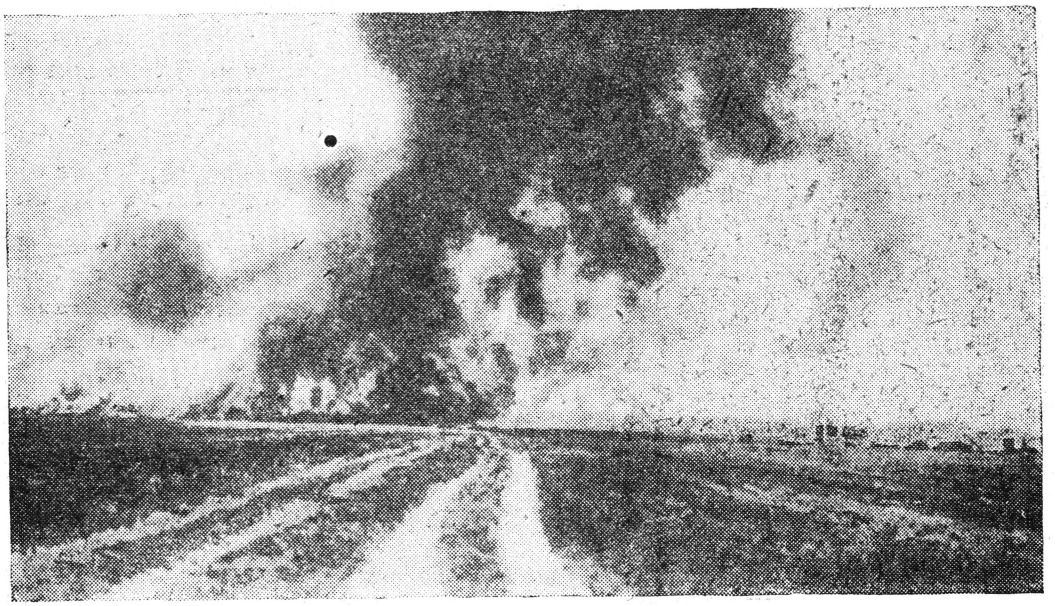


Во втором квартале 1932 года вступает в строй новый инструментальный гигант „Фрезер". Завод „Фрезер" оборудуется по последнему слову техники, новейшими машинами. Стоимость строительства с оборудованием равна 25 млн. руб. Завод будет выпускать режущие инструменты, сверла, развертки, метчики, фрезы, плашки и др. в количестве, равном выпуску инструментов заводами всего Союза. Часть оборудованных цехов уже выпускает готовую продукцию.
На снимке: Фрезеровка пятки сверла на вертикальном фрезерном станке.

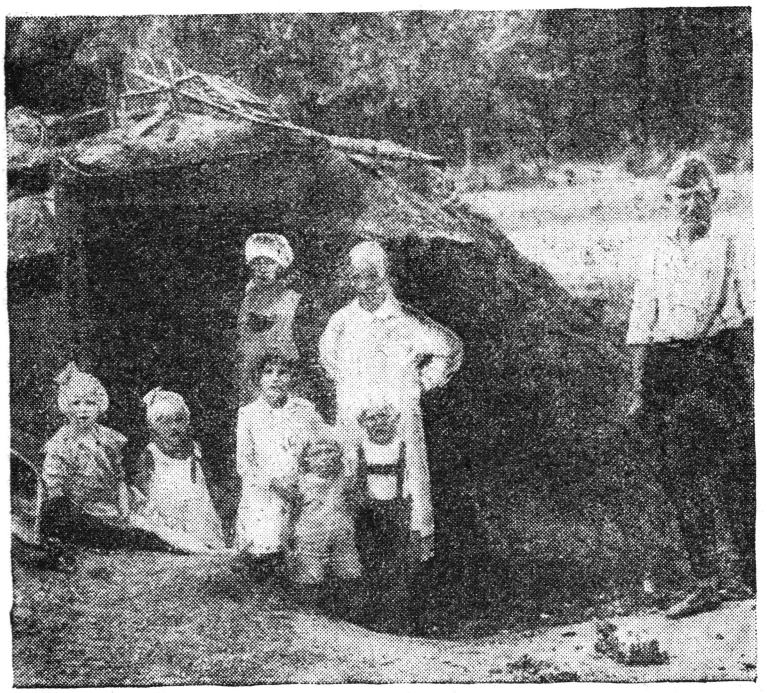
Готовые тракторные колеса, выпущенные Люберецким машиностроительным заводом.

Ярославский лакокрасочный завод „Победа рабочих" в 1932 г. перешел на производство цинковых белил из отечественной руды. Завод в 1932 году даст 3800 тонн белил. Качество советских белил не уступает канадскому.
На снимке: Первая партия цинковых белил из отечественной руды.

Пять шестых



В Соединенных штатах 12 миллионов безработных. Двенадцать миллионов рабочих не имеет куска хлеба. Значит ли это, что в стране нет хлеба? Нет, хлеб есть. Урожаи изобильны. Но они принадлежат капиталистам, а хлебные магнаты не склонны делиться своими излишками с кем бы то ни было. Но излишки давят на рынок, цены снижаются. Что делают хозяева этих запасов? Чтобы поднять цены, они сжигают их в топках паровозов, топят в море, рубят на плантациях деревья, жгут урожай на корню. А миллионы трудящихся умирают от голода и нищеты. Наши фотографии ярко иллюстрируют это положение. Вверху — сжигание на корню урожая пшеницы в штате Оклегома (САСШ),—внизу землянка многосемейного мексиканского рабочего, оставшегося без работы и выселенного из своей квартиры за невзнос квартирной платы.



Одна шестая

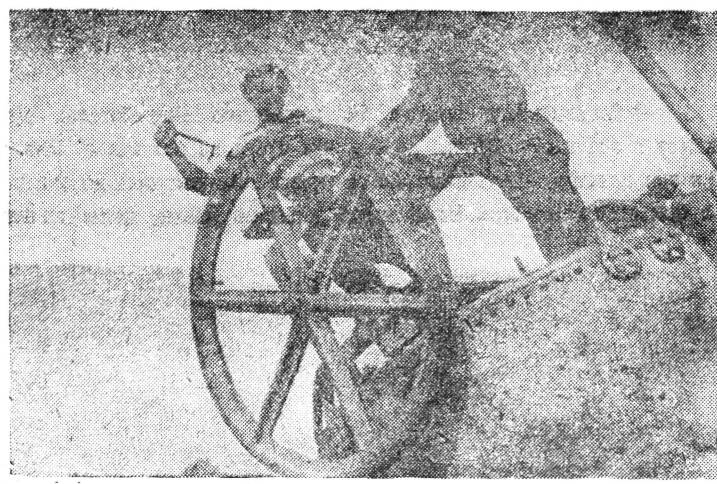
Сверхмощные нефтяные цистерны в 46 тонн вместимостью, изготовленные путем электросварки, выпускает завод „Красный Профинтерн“ в Брянске. Выпуск цистерн особенно усилен в связи с весенней посевной кампанией.

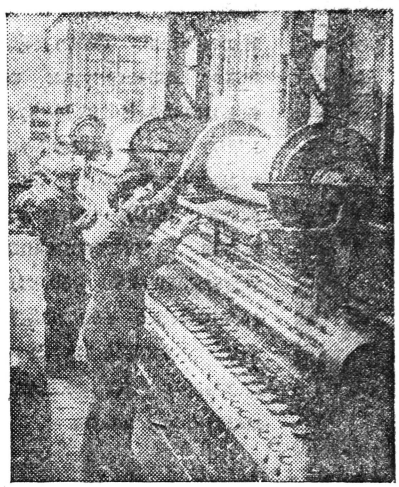
На снимке: электросваренные цистерны, выпускаемые зав. „Красный Профинтерн“.

Постройка Ленинградской теплоцентрали

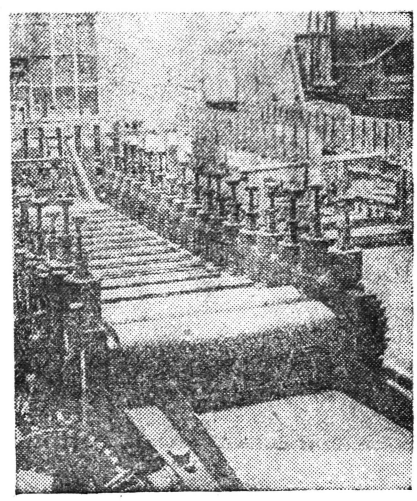
На территории 2-й ГЭС закончена постройка ленинградской электро - теплофикационной станции в 48 тысяч киловатт.

На снимке: Монтаж кессонных агрегатов.

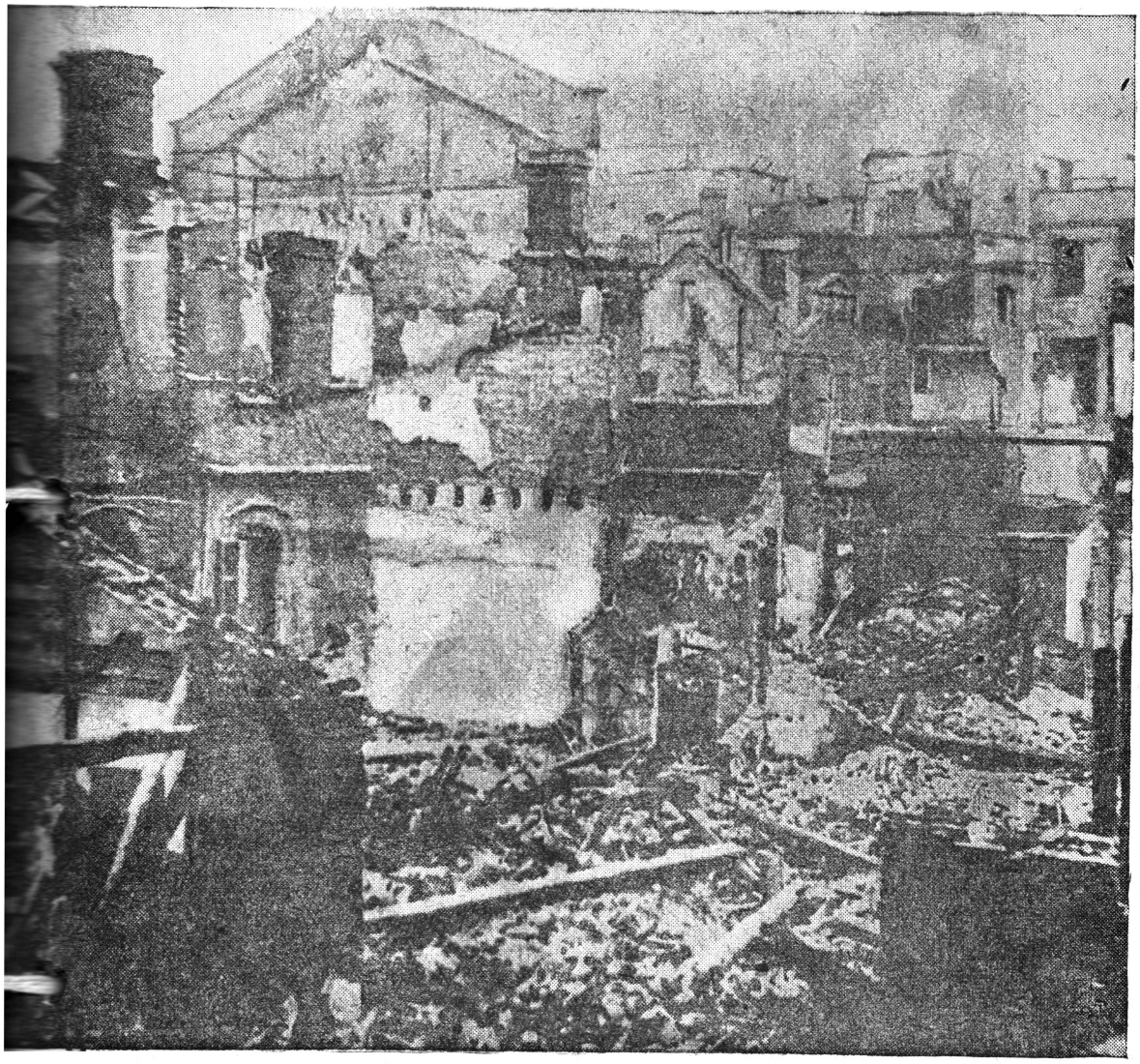




На левом снимке: Впервые изготовленная в СССР крутильная ватер-машина перед испытанием на заводе Карла Маркса. Справа: Декортикаторы—новые машины для обработки лубяных растений: льна, кенафа, конопли. На снимке: общий вид декортикаторов.



Пять шестых



Днем и ночью грохочут цехи военных заводов, работающих над выпуском пушек, пулеметов и газов. Империалисты в войне ищут выхода из кризиса. Война способна поглотить залежи чугуна, стали, химических материалов, одежды и продовольствия. Япония первая вступила на путь грабежа и интервенции и, пользуясь покровительством Лиги наций, громит Китай. Окрестности Шанхая превращены в развалины, а беззащитное население осталось без крова, без работы. Нанкинское правительство, трусливо лакействующее перед Лигой наций и жаждущее сколько нибудь удобного случая для того, чтобы продать интересы миллионов трудящихся, неспособны защитить страну от империалистов и угрозы раздела.

На снимке: Уголок района Хонкью, разрушенный японцами.

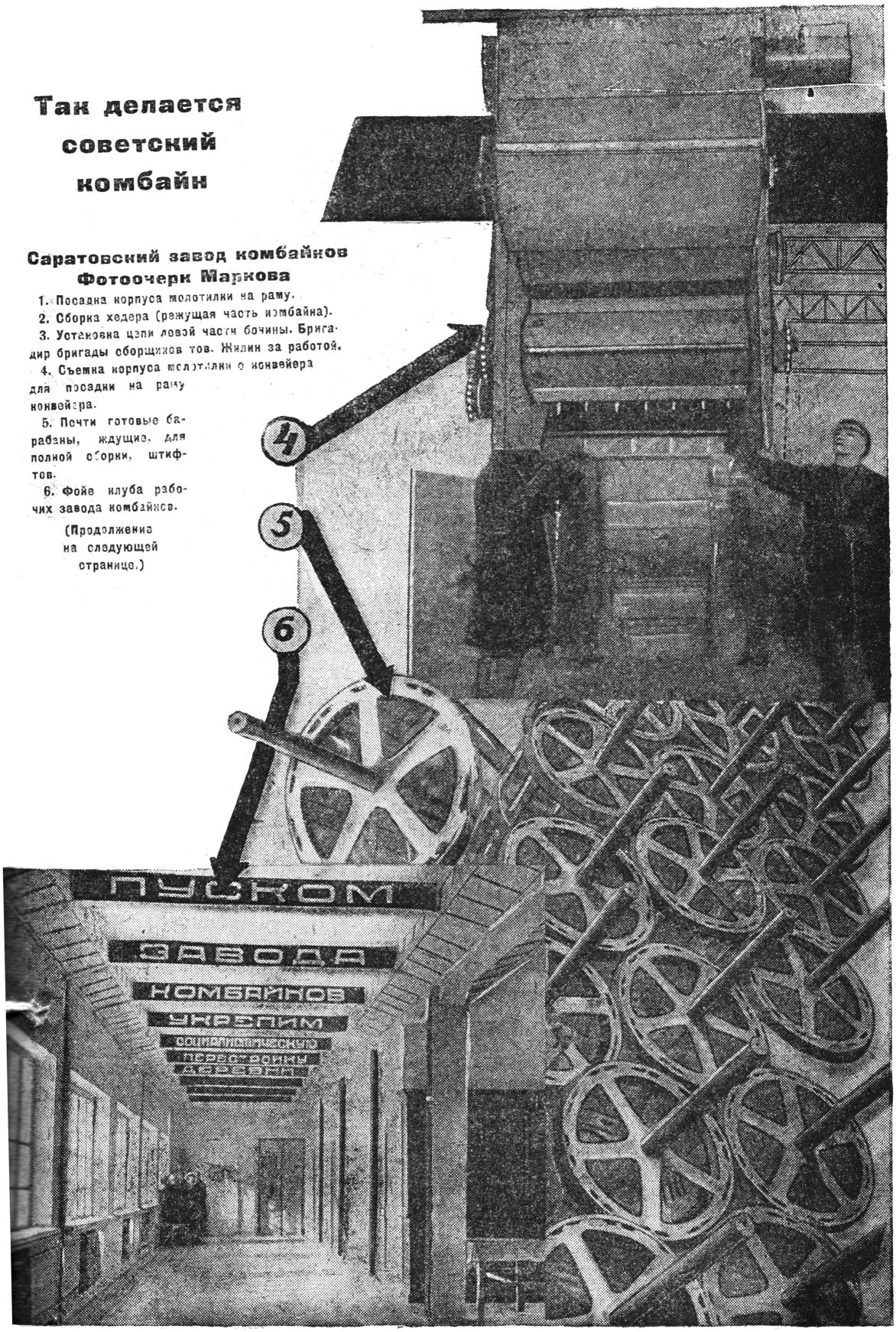
Сделано в СССР

Так делается советский комбайн

Саратовский завод комбайнов
Фотоочерк Маркова

1. Посадка корпуса молотилки на раму.
2. Сборка хедера (режущая часть комбайна).
3. Установка цепи левой части бочины. Бригадир бригады сборщиков тов. Жилин за работой.
4. Съемка корпуса молотилки с конвейера для посадки на раму конвейера.
5. Почти готовые барабаны, ждущие для полной сборки, штифтов.
6. Фойе клуба рабочих завода комбайнов.

(Продолжение на следующей странице.)



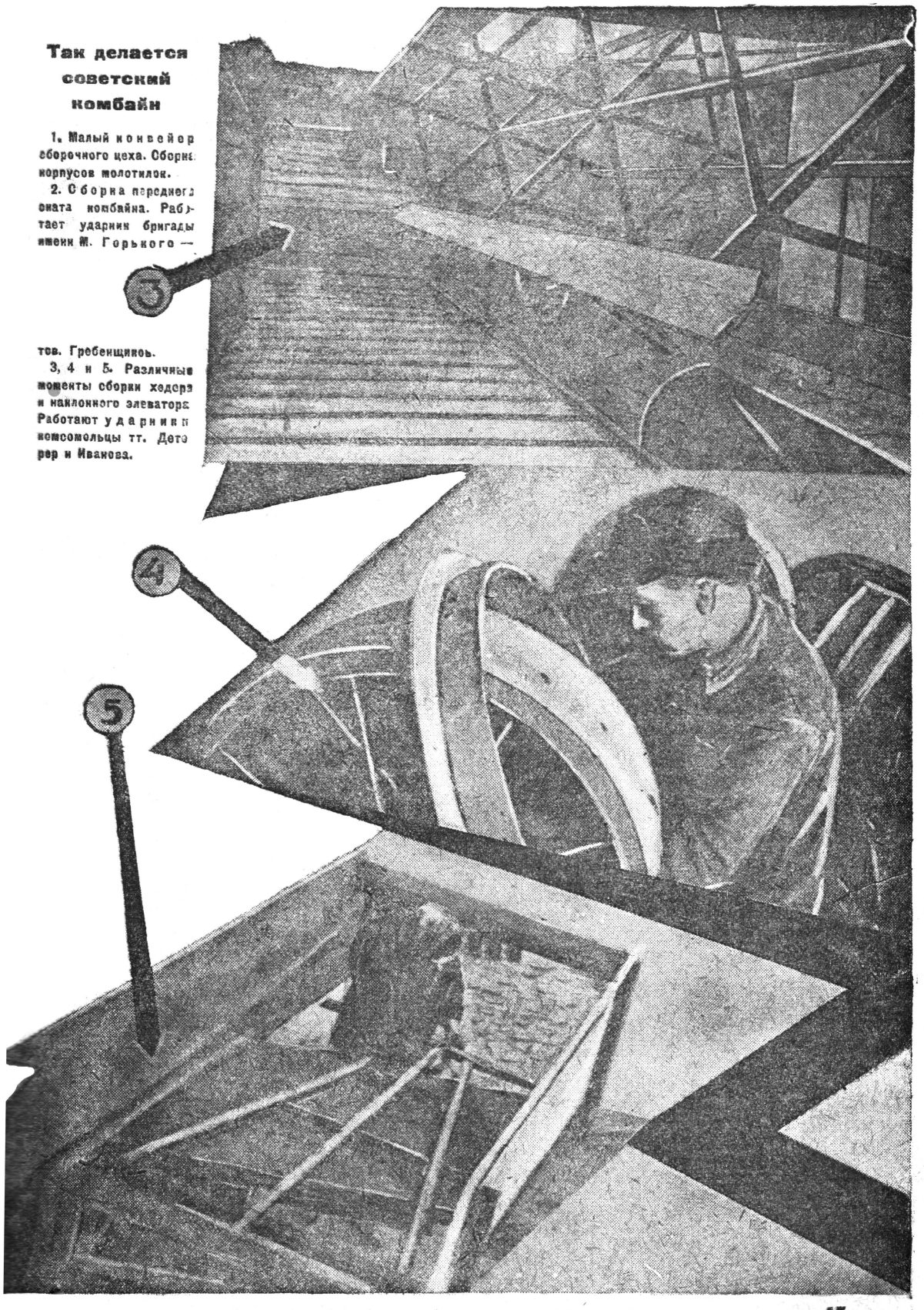
Сделано в СССР

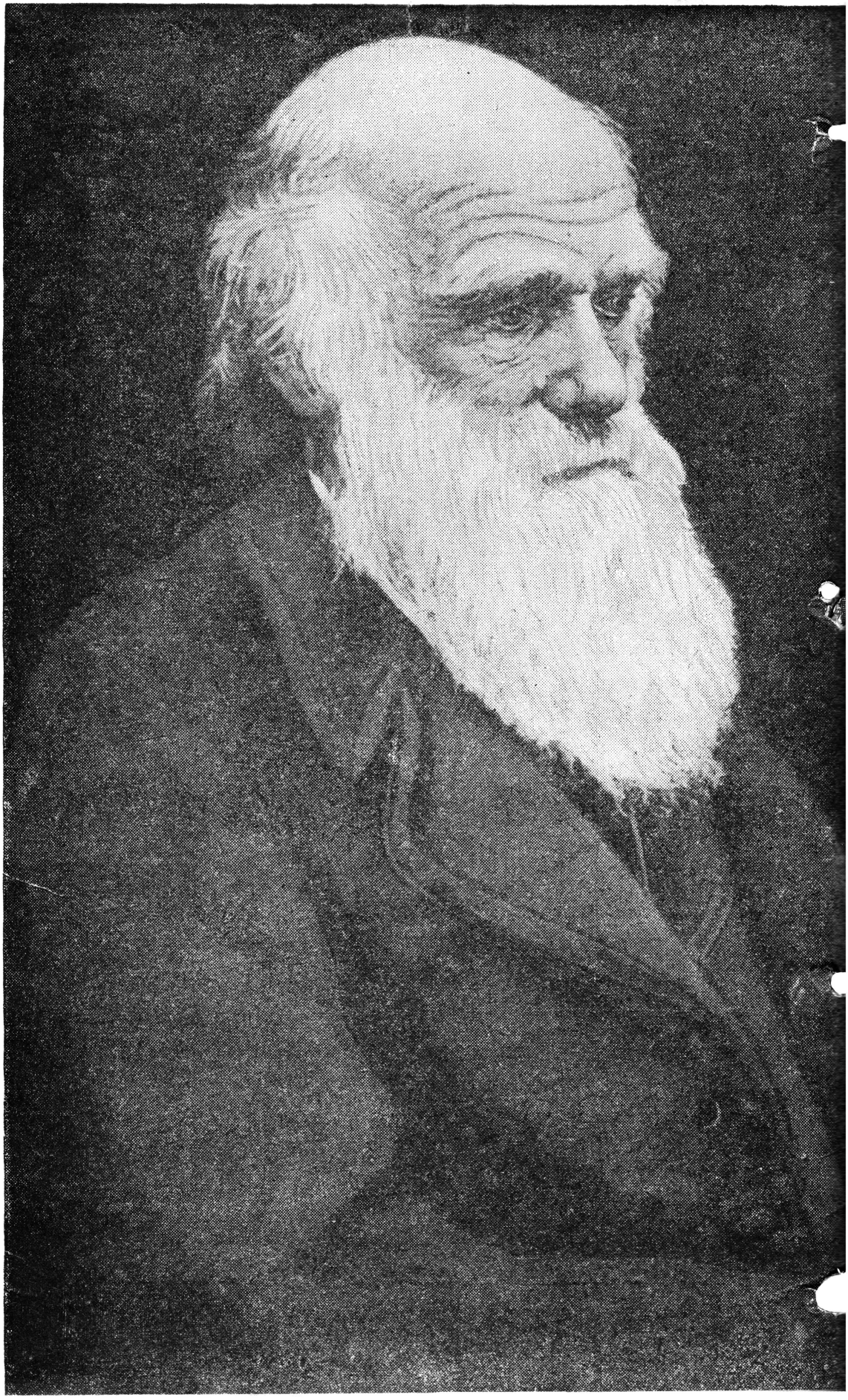
Так делается советский комбайн

1. Малый конвейер сборочного цеха. Сборка корпусов молотилок.

2. Сборка переднего щита комбайна. Работает ударная бригада имени М. Горького — тов. Гребенщиков.

3, 4 и 5. Различные моменты сборки хедера и наклонного элеватора. Работают ударники комсомольцы тт. Детерер и Иванова.





ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

С. М.

19 апреля исполнилось пятьдесят лет со дня смерти великого английского ученого, Чарльза Роберта Дарвина.

Своими работами Чарльз Дарвин нанес сокрушительный удар по старой школе, которая основывалась на церковном учении об органическом мире. Дарвин разбил вдребезги поповское представление о постоянстве и неизменности органической природы. Своей книгой „Происхождение видов" Дарвин доказал, что животные и растительные организмы представляют собой результат процесса эволюции, продолжавшегося миллионы лет. Все животные и растения, населяющие земной шар, приняли свою форму и особенности своего организма в результате борьбы за приспособление к окружающему — борьбы за существование.

Эта теория била по основам учения церкви о „божественной гармонии" в устройстве органического мира, о вмешательстве „высшей силы" и т. д.

Поэтому церковь встретила в штыки учение Дарвина. Буржуазная наука, которая частью поддерживала Дарвина, очень скоро отказалась от его теории, как только убедилась, что дарвинизм служит материалистической диалектике, а не буржуазной философии.

„Дарвин открыл закон развития органической природы", — сказал Энгельс.

Дарвинизм пришелся не ко двору науке капиталистического общества. Гениальными открытиями Дарвина по праву владеет тот класс, который готовит конец этому обществу, класс, который взялся за перестройку мира. В руках рабочего класса дарвинизм стал оружием борьбы с поповским идеализмом, оружием разоблачения буржуазной науки, оружием воинствующего материализма.

I

Когда на корабле „Бигль" выбирали якорь, двадцатидвухлетний Чарльз Роберт Дарвин, направлявшийся с кораблем в кругосветное плаванье, еще и не думал сомневаться в тех истинах, которыми жила старая наука Кембриджского университета. Главным назначением этой науки было почтительно подтверждать то, что было написано о мире в библии. Мир неизменен, — поучала эта наука, — моря, реки, горы, недра земли — такие же, какими они были созданы. И органический мир — все животные и растения — такой же. И человек точь в точь такой же. Все, что теперь видит глаз ученого, появилось в одно время и осталось неизменным до сих пор.

За два века до того, как „Бигль" готовился к отплытию, шведский ученый Линней многое сделал для того, чтобы помочь естествознанию разобраться в своем неорганизованном хозяйстве. Линней разделил все известные ему растения и животные на роды и виды и тем внес стройный порядок в систему естествознания. Но и Линней не забыл благоговейно подчеркнуть, что все эти роды и виды существуют на земле с ее первого дня. Все на земле, до последней былинки, такое же, каким создала мир высшая сила, которая на разных языках читается различно, но понимается одинаково.

Эти истины лежали прочно в голове питомца богословского факультета Кембриджского университета Чарльза Дарвина, когда он располагал свои вещи в каюте капитана корабля, Фиц-Роя.

Корабль „Бигль" находился в плаваньи пять лет, и за это время истины, заповеданные Дарвину Кембриджем, отступили перед новым материалом и новыми размышлениями.

Оглядываясь на склоне лет на великие результаты своей жизни, Чарльз Дарвин мог лишний раз на своем собственном примере убедиться, что ничто не возникает самой собой.

Чарльз Дарвин давно думал об эволюции в природе. К этой идее склонялись некоторые ученые, жившие до Дарвина, но они остановились только на теории эволюции и не сумели установить самый факт ее. Но на одном участке науки этот факт был установлен уже к тому времени, когда Дарвин поднимался на борт „Бигля".

Корабль соглашался взять с собой натуралиста, который будет собирать во время плавания научные коллекции. В то время каждый корабль, уходивший в кругосветное плавание, возвращался с такими коллекциями. На корабль Дарвин попал по ходатайству своего старшего друга, ботаника Генслоу. Этот же Генслоу рекомендовал Дарвину взять с собой в путешествие одну из только что вышедших в Англии книг.

Дарвин читал эту книгу долго и тщательно. Она целиком захватила его. Он перечитывал ее под разными широтами земного шара и в разных морях, она будила новые, замечательные мысли. Она научила его глядеть другими глазами на те материалы, которые он собирал по обязанности натуралиста.

Эта книга была первый том капитального труда Ляйеля „Основы геологии". Труд Ляйеля был книгой, которая произвела революцию в его науке.

Сама поверхность земли, один ее внешний вид ставили геолога лицом к лицу с вопросами неизмеримой в то время глубины и трудности. Откуда эти горы? Эти расщелины? Эти уступы? Какая сила выбросила на поверхность земли расплавленные массы, которые застыли, как беспредельные нагромождения базальта? Какая сила прорыла эти пещеры, расколола эти скалы?

Геологи до Ляйеля все, как один, отвечали, что это действовали особые силы, которые ныне уже не действуют.

Но от этих вопросов был один только незаметный шаг до церковной науки. Вмешательство титанических сил, — ведь это те же чудеса, о которых рассказывается в библии, это сверхъестественное могущество, это вмешательство чего-то „свыше".

Ляйель первый на место такого вмешательства поставил реальность — время. И тогда геология перестала лить воду на мельницу церковной догмы. Не чудеса, не чудовищные силы, не стократная, неведомая нашему времени работа, а силы природы, незаметная для глаза работа и время гигантской продолжительности. Вот эти незаметно действующие силы природы, слабые силы прорыли эти пещеры, обточили эти уступы, отвоевали берег у моря. Эти слабые силы — ветер, дождь, осадки, прибои. Дунай ежегодно несет в Черное море восемьдесят миллионов тонн материала, полученного от размывания гор, и на этом материале вырастает дельта. Работа была гигантской, но на нее ушло гигантское время, миллионы и миллионы лет. И никаких чудес, никакого вмешательства сверхъестественной силы. „Капля долбит камень не силой, а постоянным падением".

Мысли Ляйеля глубоко запали в сознание молодого натуралиста. Мысли, разбуженные „Основами геологии", увлекали Дарвина еще дальше от берегов Кембриджа. Если незаметные силы, действуя миллионы лет, сумели так распорядиться поверхностью земли, то не так ли, не на протяжении ли миллионов лет происходили незаметные изменения в органическом содержании земного шара. Быть может те виды животных и растений, с которыми теперь имеет дело наука, — это также продукт работы, совершавшейся миллионы лет?

Ляйель сам подошел к этой мысли и... остановился. Чарльз Дарвин не остановился. Его теория эволюции перешагнула эту революционную черту.

Но для того, чтобы сделать этот шаг, понадобилось четверть века творческой работы.

Корабль „Бигль" находился в плаваньи пять лет. Корабль направился к берегам Южной Америки, до середины 1834 года оставался у ее восточных берегов и у Огненной Земли. Здесь Дарвин несколько раз высаживался и совершал экскурсии, которые затягивались на месяц, на два. В конце 1835 года экспедиция пересекла Тихий океан. Были сделаны остановки на Таити, на Новой Зеландии, Тасмании. Пройдя Индийский океан, обогнув Африку, „Бигль" еще раз пересек по направлению к Бразилии Атлантический океан и затем уже вернулся в Англию.

После пятилетнего отсутствия Дарвин высадился на родном берегу, выгрузил ящики своей огромной коллекции и больше чем на двадцать лет засел за обработку материалов.

Поперек пути Дарвина встает мучительная болезнь. Она гонит его из Лондона, она не останавливается ни на день, до самой смерти. Но ни на день не останавливается и напряженное творчество Дарвина. В деревне Даун, в двух часах езды от Лондона, Дарвин камень за камнем строит свою великую теорию.

II

Прошло двадцать четыре года. Субботним утром, в Оксфорде, в музее, происходило собрание, привлекшее необычное внимание. В музее заседал съезд Британской ассоциации. И в музей валила явно не „съездовская" публика. Экипажи высаживали „дам из общества", породистых джентльменов и такую же молодежь, которая стояла к науке не ближе чем к Марсу. В большом количестве явились священники.

Такой состав аудитории был, конечно, необычен, но на этот раз понятен. В музее был назначен бой между дарвинизмом и его противниками. Молодых людей с бычьими шеями, любителей разных состязаний, подгонял чисто-спортивный интерес. Безупречные дамы, породистые джентльмены и священники явились с твердой надеждой, что безбожное ученье будет на глазах у всех посрамлено и разбито в прах, и что такой деликатной особе, как жене судьи, не придется считать себя в родстве с гориллой.

Нехватило на всех пришедших ни стульев ни скамеек, но никто не ушел. Раздался звон традиционного бронзового колокольчика, и вслед за тем по залу пролетел настороженный шопот.

За кафедрой стоял епископ Оксфордский, преподобный Вильберфорс. От него ждали многого. Он слыл замечательным оратором своего времени. Он наизусть цитировал целые страницы из того, что писали поэты и философы, умершие две тысячи лет тому назад. Он был очень искусен в споре — находчив, остроумен, увлекателен. Он умел говорить часами, не утомляя самой легкомысленной публики. Он умел быть, если надо — изящным, если надо — страстным и вдохновенным оратором. Так вот Вильберфорс стоял у кафедры.

Епископ Вильберфорс начинает изящно и легко, сразу очаровывая собрание. Он говорит непринужденно, и даже не слышно, как входит воздух в епископские легкие, — у ораторов менее искусных это всегда слышно.

Вдруг епископ рассеянно щурится. Внимание! Это верный признак того, что преподобный Вильберфорс ставит дьявольскую ловушку обезьяньим теоретикам.

— Я хотел бы спросить, — полным голосом говорит преподобный Вильберфорс, — уважаемого профессора, с какой стороны он происходит от обезьяны — со стороны дедушки или со стороны бабушки?

Разящий небесный гром! Такого удара не ожидали даже от таланта преподобного! Так уничтожить обезьяньих теоретиков! Одной фразой! Гогочут молодые люди с крепкими затылками. Породистые джентльмены и деликатные дамы, по причине своего положения в обществе, гоготать не должны. Поэтому они ограничиваются сочувственными улыбками и полным удовлетворением на лице.

Самого Дарвина в зале нет. Он болен, и кроме того он — не оратор. За Дарвина отвечает профессор Гексли. К нему и был обращен уничтожающий вопрос Вильберфорса.

Гексли берет слово. Но что может сказать после преподобного Вильберфорса этот худой человек со слишком молодыми для профессорского звания глазами?

Однако он говорит. Гогот молодых людей с крепкими затылками стихает. С лица дам из общества исчезает выражение полного морального удовлетворения.

Профессор Гексли жестоко покарал преподобного Вильберфорса за его безграмотность, за самонадеянное тупоумие, за шутовство.

— Мне не стыдно, — говорит профессор Гексли, заключая с вою речь, — происходить от животного с низким разумом.

Я скорее стыдился бы происходить от человека с блестящим положением в обществе, который, вмешиваясь в область, ему совершенно незнакомую, служит предразсудкам и затемняет истину.

Вильберфорс может возражать, если желает, но епископ чувствует, что этот спор стал опасным для его преподобного невежества делом, и слова больше не берет.

III

Почему же мобилизовались Вильберфорсы против дарвинизма? Почему они так насторожились, когда вышла из печати эта книга, носившая длинное ученое заглавие: „О происхождении видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за существование"?

Почему вся тупоумная паства тупоумного преподобия побежала в ученое собрание слушать, как епископ будет сыпать громы небесные на голову Дарвина?

Самый короткий и самый исчерпывающий ответ на это дал Энгельс:

„Дарвин нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно и человек, есть продукт процесса развития, длившегося миллионы лет".

До Дарвина ученые выступали с отдельными, разрозненными попытками против церковной биологии. А Дарвин бил по церковной биологии сокрушающим тараном своей теории.

Под этими ударами церковное представление о божественной гармонии устройства органического мира рушилось, как дом на песке.

Нет постоянства, а есть борьба видов за существование и их изменчивость в этой борьбе. Каждое растение, каждое животное изменяются в своих взаимоотношениях с внешним миром. Все те виды животных и растений, с которыми человек имеет сегодня дело, развивались на протяжении миллионов лет. Каждый организм — результат этой борьбы за свое место в природе. Удержались в природе только те растения и животные, которые изменились так, как того требовало окружающее. И были побеждены и исчезли с лица земли те виды, которые к окружающему не приспособились.

Нет никакой божественной гармонии, никакого чудесного распорядка в органическом мире. Природой управляет закон борьбы, закон развития видов, того развития, которое ведет к целесообразной изменчивости и приспособлению к окружающей среде.

Не шесть дней творения, а миллионы лет развития и борьбы. Вот с этим-то никак не могла примириться услужающая церкви реакционная наука. Ее ярость достигла высшего предела, когда дарвинизм не сделал исключения даже для человека. Две тысячи лет учила церковь, что человек создан по образу и подобию бога, а Дарвин провел линию эволюционного родства между человеком и обезьяной.

IV

С того дня, как отправился в путешествие корабль „Бигль", прошло сто лет. Со дня выхода в свет „Происхождения видов" минуло почти три четверти века — и пятьдесят лет прошло со дня смерти Чарльза Дирвина.

Сколько поповской ерунды, сколько невежественных книг было пущено в ход, чтобы опорочить теорию Дарвина! Вильберфорсы всех стран и культов сомкнулись в один ряд. Вильберфорсы идут в бой против Дарвина не с одним только своим шутовским остроумием. Это оружие оказалось несостоятельным. Они покупают для своих послушных ученых университетские кафедры, строят лаборатории, где эти ученые должны ковать оружие против Дарвина. Наконец они давят и силой своего государственного аппарата.

Идущая прямой дорогой к могиле буржуазия уже не может воспользоваться всем тем, что накопила ее наука. Поэтому в годы всеобщего кризиса капитализма, в годы мечтаний об отказе от машины, о возврате к кирке и мотыге, как бледно прошел юбилей замечательного открытия Фарадея. Поэтому среди неистового поповского воя, мистического бреда, нет и не может быть на Западе подлинного торжества в честь великого Чарльза Дарвина. Какое там торжество, если за чтение его книг тащат в участок! Какое там торжество в честь передовой науки, если знаменитый астроном не постеснялся заявить, что в конце концов дело личной склонности человека — верить или не верить во вращение земли вокруг солнца. Можно признавать учение Коперника, а можно и не признавать, — как кому нравится. Какое там торжество, если буржуазная наука оказалась таким же банкротом, как вся буржуазная система.

Через год после смерти Дарвина Энгельс сказал:

„Дарвин открыл закон развития органической природы".

С этим законом буржуазия воюет не переставая. Этот закон не может поместиться в ее духовном хозяйстве. Но этим законом по праву владеем мы — строители социализма, мы — безбожники, переделывающие мир.

ВСТУПЛЕНИЕ

Мих. БРАММ. Рисунки И. ЕЦ

1. РАССТРЕЛ ЛАБОРАТОРИИ

Ба-бах! Бах!

Бах! Ба-бах! Микроскоп сбит...

Что там еще? Динамо?.. Весы?.. Еще один микроскоп?.. Насос?.. Варочный котел?.. Сложные соединения колб?..

Бах! Ба-бах! Браунинг прекрасно стреляет... Так удобно сидя расстреливать целые батареи колб, пузатых реторт...

Фарфоровая посуда разлетается с таким жалобным стоном... Расстрелянные колпаки, трубки звенят на столе, на полу, заглушая эхо выстрелов...

Бах! Ба-бах!

Герр Кельберг получает истинное удовольствие. Может быть в прошлом, когда он приобретал эти предметы, он меньше наслаждался ими, чем теперь — расстреливая и уничтожая.

Герр Кельберг совершенно здоров, спокоен... Он делает свое дело с истинным наслаждением мечтателя... Он мечтает о полицейских, которые разгоняли сегодня бастующих рабочих Пфээка... Их можно было бы расставить на полках вместо баночек, трубочек, колб, и браунинг, очевидно, с еще большей готовностью разряжал бы свою магазинную коробку... Кельберг тогда стрелял бы более рассчетливо и, может быть, засмеялся бы в первый раз после возвращения из Китая...

Эта вот пузатая реторта напоминает Пфээка... Бах! Свалился Пфээк... Свалился мистер Тейби, мистер Гоодн, Ван Шин-вей — владельцы бумажной фабрики в Шанхае.

Герр Кельберг совершенно здоров и спокоен... Но зачем он делает это? Зачем он расстреливает свою лабораторию, которая дала миру столько знаменитых работ?.. Герр Кельберг—крупный ученый, такой жизнерадостный, такой богатый человек.. Впрочем уже не богатый... Даже, если хотите, уже не крупный ученый... Герр Кельберг выходит на балкон и плюет сверху на шляпы проезжающих в автомобилях людей... Очень странное развлечение для крупного ученого...

Фрау Берта — домашняя хозяйка Кельберга — плачет в коридоре от страха и удивления. Она то жалобно, то истерически причитает:

— Боже мой, боже мой! Что с ним стало?.. Он сошел с ума...

Нет, герр Кельберг не сошел с ума... Он плачет?.. Да, это нервная реакция... На что? На расстрелянную лабораторию или на похороненные иллюзии?.. Он плачет?.. Герр Кельберг, который никогда не умел плакать, любил смех, громкий, раскатистый, частый... Но это было тогда, когда герр Кельберг даже не умел стрелять... Когда он не знал даже запаха порохового дыма... Это было тогда, когда он был досточтимым, достоуважаемым, почтенным Кельбергом. А сейчас он сам снял с себя эти оболочки „покоя“ и славы, вложил их в банку из лаборатории и расстрелял.

Зачем?

2. СМЕРТЬ КИТАЙСКОГО БОЯ И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ КЕЛЬБЕРГА

Во время войны поезда опаздывают.

В Китае поезда не перестают опаздывать...

Экспресс неожиданно остановился на каком-то полустанке. Кельберг, измученный от дневной жары, спал в своем купе. Его разбудил Пирри. Пирри — это помощник и противоположность Кельберга. Кельберг толст, жизнерадостен, ленив. Пирри худ, молчалив, ленивых людей не любит: работа приносит деньги. Пирри — американец.

Пирри рассказывает, что южане разобрали путь.

О, Кельбергу это понравилось. Это похоже на настоящую революцию!..

— Вас интересует революция, Пирри?

— Нет, герр Кельберг, не интересует.

— Жаль... Тот, кто начинает драку, очевидно прав. Что вы об этом думаете?

Пирри ничего об этом не думает. Он — инженер и не интересуется революцией, — его голова неспособна работать в двух направлениях. Это — его личная сентенция.

У себя на родине Кельберг тоже не интересовался революцией, — на родине он своей лабораторией был заслонен от внешнего мира, — но не то в Китае. Там революция встретила Кельберга сразу же в дороге. Он заключил контракт с шанхайской бумажной фабрикой не для того, чтобы изучать Китай, но... Но почему в Китае так много английских и французских офицеров?.. Почему расхаживают они здесь, как некие всевластные судьи, цинично и нагло обращаясь с китайцами?.. Кельберг никогда не был особенно любопытным, но... но почему для восстановления разобранного пути прибыл английский бронепоезд?..

— Скажите, — обращается он к англичанину, — что если бы в Лондон прибыл бронепоезд с китайскими солдатами, — что бы вы сделали?

Англичанин даже забыл высказать удивление, — настолько был нелеп этот вопрос...

... Так почему же английские, французские, американские солдаты наводняют Китай?.. Какое они имеют право вмешиваться в национальную революцию?.. Кто разрешил им силой согнать окрестное китайское население на восстановление пути? Почему?.. Почему?.. Почему?..

В контракте не было никаких вопросов и никаких ответов. По контракту Кельберг обязывался помочь своими знаниями поднять производительность фабрики, но странное дело! Кельберг забыл о контракте, он забыл об ожидающей его работе, — Кельберг начал интересоваться революцией...

Кельберга избили, избили китайцы в тот момент, когда он вышел из поезда узнать причины остановки. Кельберг ругается. Он называет китайцев „макаками", „хулиганами", но это выходит как-то не всерьез, он даже почему-то облегченно, удовлетворенно хрюкает... Может быть это сознание вины, лежащей на каждом европейце за английский бронепоезд в Китае, за французскую винтовку, за американский аэроплан?.. Кельберг пытается разобраться в своих каких-то новых чувствованиях, проанализировать свое неожиданное столкновение с новой жизнью... Он злится на Пирри, на англичан, на жару, он злится на себя... Он несколько раз берется за свою рабочую тетрадь, но сегодня он почему-то не знает, что туда нужно записывать: „Бисульфитный способ варки сосны...", „Рисовая солома как сырье для целлюлезы...", „Действие едких щелочей на натронную целлюлезу...". Нет, это все не то, не то... Сегодня какие-то совсем другие мысли шевелятся в голове... Какие же? Их надо собрать... Кельберг отложил тетрадь. Экспресс простоял уже целую ночь, он простоит, очевидно, еще сегодняшний день. Кельберг вышел из вагона на улицу... Недалеко от вагона в кружок собралась толпа пассажиров. Кельберг подошел к ним. На земле лежал пристреленный бой, тот самый китайский пугливый мальчик, который прислуживал герру Кельбергу в купе.

— Кто это сделал?

— Мальчик хотел уйти к южанам... естественно маузерист пристрелил его.

— Вы находите это естественным?

— Разумеется!

— Какие проклятые люди! Какие тупые самодовольные подлецы!

Пирри никогда не видел своего патрона таким раздраженным, но и сам Пирри никогда не был раздражен так, как в этот раз, когда, раскрыв по обыкновению рабочую тетрадь своего патрона, он вдруг натолкнулся на такую новую „запись":

„Дела Китая — есть дела Китая. Имеют ли право иностранцы вмешиваться в революцию, которая носит чисто-национальный характер?"

... В этот раз экспресс пришел в Шанхай с большим опозданием, но мотокары владельцев фабрики, встречающих известного профессора герра Кельберга, не заставили себя ждать... Вопреки своему обыкновению, Кельберг поздоровался с хозяевами сухо и нелюбезно. Появившаяся в дороге раздражительность увеличилась, когда во владельцах шанхайской бумажной фабрики он увидел стопроцентных англичан — мистеров Гоодна и Тэйби.. Еще бы! Разве есть где-нибудь более дешевый труд, чем в Китае?.. Если б герр Кельберг был грамотен политически, он подумал бы именно так, но пока — пока еще герр Кельберг только потерял привычный покой... Впрочем не он один. Пирри тоже неспокоен, правда, от других причин. Убитый бой, наглость европейцев в Китае, хищническая эксплоатация китайцев — господи, какой наивный этот герр Кельберг! Будто в Берлине, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже — не то же самое! Нет, не в наивности и не в сомнениях Кельберга лежит беспокойство Пирри; дело в том, что из-за них может лопнуть очень выгодный контракт. Патрон совсем перестал работать. Он только хрюкает недовольно и без конца курит трубку... Что с ним стало?

Пирри преувеличивает немного, — Кельберг работает. Только над чем? Уж очень какой-то необычайный доклад готовит он хозяевам фабрики. На чем он строится — только ли на технических и экономических данных, или это сухие, и мозденные лица рабочих, обезображенные от адского труда работницы и их дети, работающие на фабрике, легли в основу доклада?

... Герр Кельберг научно обосновал свое требование установить в цехах вытяжную вентиляцию.

О, герр Кельберг — такой известный ученый... Конечно... конечно, увеличение производительности, облегчение труда... Герр Кельберг, конечно, человек гуманный, но китайские рабочие не так изнежены, как европейские... Если профессор находит, что сейчас рабочие дают низкую выработку, — их можно заменить более молодыми, более свежими... Но вытяжная вентиляция... гм... этот расход для фирмы... как бы вам сказать?.. нерентабельный, да!..

— Мы хотим, герр Кельберг, улучшить технику, а не... условия работы...

Теперь Пирри совершенно прав. Кельберг перестал работать. Он делает какие-то философские и даже политические заметки в рабочей тетради. Он ругается, слоняясь в одном белье по комнате. Он наконец устраивает какие-то бесцельные прогулки на гоночной машине за город... Он—это ужасно! это ужасно!— он грозится порвать контракт, уехать из Китая...

— Но, герр Кельберг, в Европе — то же самое. Тут только все снаружи... А в вашем концерне... в Берлине...

— Вы лжете, Пирри!

— Нет, герр Кельберг! Вы не видели... И в Германии и в Китае...

— Вы клевещете на Германию, Пирри! Уходите! В моей стране есть закон, культура!

... А рабочие бумажной фабрики в Шанхае уже много лет под ряд требуют у своих хозяев установления вытяжной вентиляции. Они задыхаются от пыли, умирают от чахотки. Рабочие грозились забастовкой, хозяева — войсками. Но забастовка вспыхнула. Забастовка невыгодна хозяевам даже в Китае. Менять рабочих — терять навыки и квалификацию старых, выдерживать борьбу против штрейкбрехерства, связываться с полицейскими войсками— неприятные вещи. Разве не лучше сорвать забастовку?

— Герр Кельберг, вы могли бы сказать рабочим, что детали вентиляции уже заказаны... Рабочие верят в вашу неподкупную честность... Три несчастных случая за последний день,— но разве мы виноваты? Стоит такая жара... Завтра они собираются прекратить работу... Ваше слово...

Кельберг обещал сказать свое слово, он только не сказал, какое это будет слово... Контракт? Ха-ха! Плевать на контракт! Кельберг — человек независимый, он уплатит неустойку... Пусть волнуется Пирри, элегантный Пирри, — это его дело, а слово — ведь о нем просят Кельберга.

Да, это был бум! Какой это был бум!

— Вентиляции не будет, — кричал забастовавшим рабочим Кельберг. — Можете подыхать дюжинами ежедневно. Гоодну ваши смерти стоят дешевле вентиляции. Идите в суд! Требуйте у закона!

К чорту Гоодна, Тейби! К чорту Пирри!

Кельберг принимает делегацию от забастовавших, он сам пишет им жалобу на хозяев в суд... Но китайцы о законе знают другое: закон существует не для них. На что им жалоба?..

— Но зачем же вы пришли ко мне?..

Что еще, кроме ж а л о б ы в с у д, мог посоветовать рабочим профессор Кельберг, который двадцать восемь лет своей жизни из сорока восьми посвятил исключительно технике бумажных фабрик? Разве он знал что-нибудь о классовой борьбе, о социальной, не национальной революции? Он был культурным европейцем—и верил в закон. И верил еще профессор Кельберг в европейскую печать. Газеты цивилизованных людей—это сама цивилизация...

После ухода китайцев Кельберг отправляется в редакцию английской газеты. Газета, конечно, защитит справедливые требования китайцев. Но в редакции вдруг оказалось, что герр Кельберг неправильно освещает события, свидетелем которых он сам был...

— Но я сам...

— У нас имеются другие сведения, сэр...

... А на другой день оказалось, что Кельберг — „агент Москвы".

А еще на другой день оказалось, что китайцы, приходившие к Кельбергу, расстреляны как зачинщики смуты.

И тогда Кельберг бесповоротно решил расторгнуть договор, уплатить крупную неустойку, но возвратиться в свою культурную страну, где есть закон — возвратиться в Германию...

3. КЕЛЬБЕРГ ЕЩЕ НЕ РОДИЛСЯ

... Не родился второй раз. Убийство боя, расстрел китайских рабочих — это было жестоким зачатием нового Кельберга. Но старый был пока сильней, он верил в Германию— в свою благонравную, законную, цивилизованную Германию.

Пирри, скрепя сердце, уехал со своим патроном.

... Пфээк, хозяин бумажной фабрики в Берлине, умел прощать грехи... Кельберг пошалил, конечно, в Китае, но у Кельберга так много

технических знаний, это такой талант! Его работы приносят столько прибыли!

— О, герр Кельберг! Я знаю вас, — вы слишком немец и слишком ученый... Я говорил всем и каждому: не распускайте сплетен, еще ничего неизвестно.

Пфээк — это не Гоодн и не Тейби, Пфээк — немец, живущий и работающий в культурных условиях... Он поймет Кельберга, когда он расскажет ему о зверствах европейцев в Китае, о безжалостной, хищной эксплоатации женщин и детей. И действительно, разве Пфээк не слушает внимательно рассказ Кельберга?.. Разве он не возмущается?.. Разве не качает сочувственно головой?.. Правда, Пфээк полирует в это же время свои ногти, но это просто потому, что Пфээк привык иметь чистые ногти. Культура!.. Правда, Пфээк больше занят котлом — новым котлом Кельберга, который устанавливается на фабрике, но ведь это его радость — он хозяин...

А Пфээку в высокой степени начхать на все эти переживания сентиментального Кельберга. Его мысли заняты котлом и „девочкой", с которой он сегодня проведет вечер в ресторане. Но ведь не может Кельберг читать мысли Пфээка!..

Научится! Кельберга научит жизнь, обстоятельства научат читать мысли этого „жука на булавке", представление которого у него вызывала фигура Пфээка.

Кельберг изобретал, потому что не мог не изобретать. Кельберг продавал свои патенты Пфээку и другим, потому что так было принято делать. А задуматься над социальной функцией своего творчества Кельбергу не приходилось ни разу. Китай направил по-новому мысли Кельберга, — у него появились какие-то сомнения, он стал против чего-то протестовать, он увидел, что в мире не все ладно,—но увидел неясно, сумбурно, это еще не было новым мировоззрением.

Помог котел. Тот самый котел, патент на который закупил Пфээк.

Почему это его котел привел к безработице часть рабочих Пфээка? Почему недовольство рабочих направлено против него, изобретателя? Как же это получается, что его работа — технический прогресс — отражается на благополучии рабочих? Здесь что-то очень и очень запутано. Рабочим, уволенным Пфээком, некуда деться, — но почему же такая безработица в Германии?.. А почему в Советском Союзе нет безработных?.. Почему? Почему? Почему?..

Эти новые вопросы бурным шквалом налетели на Кельберга в культурной Германии. От этих вопросов уже не отделаешься просто отъездом. Но где же искать на них ответ? У Пирри? Ха! Карьерист, „бизнесмен", которого, кроме дела, дающего деньги, интересует еще только разве невеста... Тогда у Пфээка? Но тут уже новым чутьем, пока еще инстинктивно, Кельберг понял, что у Пфээка он ответа не найдет. Кельбергу нужно мировоззрение, Кельбергу нужна философия.

Кельберг берется за Маркса.

Кельберг — ученый, он любит математику. Маркса Кельберг понял тоже пока как ясную математическую формулу. За основным, за классовой борьбой он увидел в нем стремление к мировому равновесию... Простим ему эту иллюзию. Ведь Кельберг — новорожденный, он только что вторично родился. Классовую борьбу он еще поймет, его научит жизнь, он вырастет, ибо уже стал на верный путь.

Вооруженный Марксом, по-новому, еще с далеко не отшлифованным мировоззрением, но уже без прежнего сумбура взглянув на мир, Кельберг уже через несколько дней становится на сторону забастовавших рабочих фабрики Пфээка.

Но наивность еще не убита. Кельберг плачет во время столкновения с полицией и кричит полицейским: „Не смейте! не смейте!" Этим криком он хочет остановить стрельбу полицейских по рабочим. Кельберг бежит, но куда? От выстрелов или на выстрелы? К кому? К рабочим или к полицейским, вызванным Пфээком? Почему в рабочих стреляют, а в него нет? Чей он вот в эту минуту? Кто его признает своим: Пфээк с полицией или рабочие которым он хотел помочь, но которые считают его главным виновником их несчастья?.. К кому стоял он лицом в ту минуту, когда большой гладкий булыжник ударил его в спину? Падая без чувств, он успел зафиксировать свою последнюю мысль: „Меня ударили рабочие..."

... В чувство приводили Кельберга Пфээки и сам Пфээк. О нем заботились, сожалели о несчастном случае... Но этот булыжник добил наивность, убил последние иллюзии Кельберга. После обморока он очнулся, чт бы стать совершенно новым человеком, ясно осознавшим себя врагом всех Пфээков — и китайских и немецких.

Но, осознав себя новым человеком, Кельберг не сумел еще по-новому организовать свои поступки, свой протест против мира, в котором он до того жил, свою жизнь. Кельберг—одиночка, Кельберг — интеллигент, и его протест стихийно направляется против своей лаборатории: он разрушает ее тем самым браунингом, который он купил для того... чтобы покончить с собой. Мысль о самоубийстве — разве это не необходимый этап на пути Кельберга? Расстреляв свою лабораторию, Кельберг решает использовать очень дорого стоящее право на возврат патента, проданного Пфээку. Из-за его котла уволили рабочих. Кельберг выкупит патент у Пфээка! Патент выкуплен, — Кельберг стал нищим. Кому это помогло? Пфээк установил котел „подобной" конструкции, — это его право, Пфээк делает все на основании культурного закона, — рабочие уволены... Бессмысленный поступок, но Кельберг еще не организован. Сняв с себя оболочки „покоя" и славы, Кельберг на время взбесился, но зато, выйдя из лаборатории, он подошел к фрау Берте и сказал ей с совершенно спокойной улыбкой:

— Я здоров и хочу есть!

У Кельберга — нормальная температура...

Если полуживой равен полумертвому, то живой может быть равен мертвому.

... Так как, если половина равна половине, то единица равна единице. Ведь Кельберг любит математику. Но он начинает уже по-новому толковать старые гипотезы, он начинает уже вышучивать их. Математика Маркса научила его, что в капиталистическом мире живой ученый может быть равен мертвому... А Кельберг не хочет быть живым мертвецом!

У Кельберга мелькнула какая-то ясная, решительная мысль.

Кельберг давно не выходил на улицу. Сегодня он хочет найти Пирри. Как давно он не встречал своего помощника! Где он? Ведь в сущности они не работали с тех пор, как приехали из Китая... А разве Кельберг больше не любит Пирри? Кого же ему еще любить? Кельберг — одинокий человек. Когда-то он любил голубоокую и золотоволосую девушку, еще до недавнего времени он посвящал ей ежегодно по одному стиху. Но теперь писать любовные стихи... Он разлюбил даже красивые нежные стихи Новалиса, он начал знакомиться с Гейне... Гейне больше подходил к его взбунтовавшейся натуре. Но он остался совсем один, а к Пирри он привык... Кельберг попытался зайти в „Роте фане". Именно попытался, потому что он не знал, о чем он там будет говорить, зачем пришел... И когда в „Роте фане" его враждебно встретили те рабочие, вместе с которыми он бунтовал на фабрике Пфээка, Кельберг молчаливо вышел, ничего не сказав, ничего не спросив. Зато он все сказал Пирри: он сказал ему о том, что в Берлине не лучше, чем в Китае, он сознался ему, что первый раз в жизни ему изменило математическое чутье, когда он, просто старый, лысый, крикливый осел, бросил все свое состояние Пфээку за возврат патента... Он сказал еще Пирри:

— Но я запутался в последний раз. Больше я не буду делать глупостей, довольно... Я предлагаю вам вполне официально ехать со мною в Россию. Там, по всей вероятности, я сумею работать по-настоящему...

И Пирри согласился. В Советском Союзе предлагали хорошие условия. Фрау Берта причитала немножко, — Россия так бедна, там голодают... На всякий случай она захватила с собой патентованные крысоловки: фрау Берта — заботливая хозяйка.

... В Китае — этап личных, несколько сентиментальных переживаний Кельберга, он страдает скорее морально, как честный человек, от подлостей культурных европейцев. В Берлине прозревший или начавший прозревать Кельберг столкнулся с вопросами общественными в самом широком смысле слова, но это тоже пока что этап „общечеловеческих" интеллигентских шатаний. Но в СССР на живой, требовательной работе среди новых людей Кельберг начинает познавать правду классовой борьбы. Он видит класс, строящий социализм, он видит новых хозяев завода: это не только директор треста или директор фабрики, — это и инженер, и рабочий, и старый мастер, и комсомольский ученик. Кельберг перестал запираться в лаборатории, Кельберг ходит по фабрике, знакомится с работой, с людьми, и Кельберг снова начинает петь в лаборатории и по вечерам играть на рояле... Кельберг, попутно с рабочими заметками, ведет уже теперь специальные записки, в которых он факты из капиталистической жизни противопоставляет фактам из жизни в СССР. Кельберг связался с комсомольцами, помогает им в борьбе за повышение встречного: его захватывает энтузиазм молодых, энергичных комсомольцев. Ведь он такой молодежи у себя на родине даже не встречал. Пирри... Ах, что такое Пирри! Он с презрением относится к „новым увлечениям" своего патрона, а патрон уже с презрением начинает относиться к Пирри... Он начинает понимать, что в сущности он любил Пирри только потому, что ему раньше некого было любить. Пирри — чужой ему человек. Это — карьерист, жадный до заработка и стремящийся к роскоши. Он со своей культурой стоит несравненно ниже этих комсомольцев — Седина, Матросова, инженера-комсомольца Неймана. Кельберг передает этим комсомольцам свои знания, он из них подготовляет себе помощников. Кельберг начинает заниматься с рабочими завода, двух комсомольцев он берет к себе в лабораторию... Кельберг разоблачает старого, вредного для фабрики инженера и требует его удаления. Кельберг горит в рабочем напряжении вместе со всем коллективом фабрики и добивается увеличения выработки бумашин. Он, правда, работает ночами, он заставляет, он уже п р и к а з ы в а е т Пирри работать вместе с ним по восемнадцати-двадцати часов в сутки! Пирри морщит лоб, — это ему не нравится... Герр Кельберг не должен вмешиваться во все эти дела.. Выступать на рабочих собраниях... Делать для комсомольцев доклад о Китае... Герр Кельберг прерывает Пирри. Пирри — враг, чужой ему и стране, в которой он живет. Пирри больше не нужен Кельбергу, — Кельберг требует отъезда Пирри из СССР точно так же, как он потребовал удаления инженера Борового с фабрики.

Пирри уехал.

... На бумажной фабрике, на которой работал Кельберг, он встретился с теми немецкими рабочими, которых уволил Пфээк, с теми, которые возненавидели его за котел... Вначале эти рабочие отнеслись к нему враждебно, но это потому, что они не знали, каким животворным оказался их булыжник, направленный в спину Кельберга...

Кельберг вырос, окреп. Он работает во весь гигантский размах своих знаний и своего таланта. Кельберг по-новому почувствовал жизнь.

* * *

Под давлением кризиса, давно уже переросшего в кризис всей капиталистической системы, на Западе происходит небывалая классовая диференциация в слоях буржуазной интеллигенции.

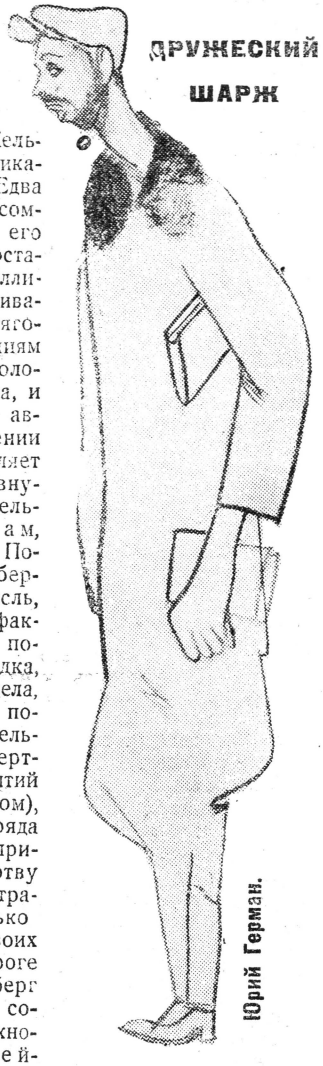
Интеллигенция, как промежуточный слой, выбирает свое место. Реакционная часть переходит на сторону капитала. Она борется против его гибели различными программами и проектами „оздоровления", „разоружения", укрепляя под шумок военную мощь для борьбы с „главным виновником" катастрофы — с СССР.

Но лучшая часть, преодолевая пережитки своего мировоззрения и классовых связей, переходит на сторону подымающейся пролетарской революции.

Этой большой теме нового социального становления буржуазного ученого и посвящена к н и г а Ю р и я Г е р м а н а — „В с т у п л е н и е" (очерк о которой нами дан выше).

Эволюция Кельберга — это, в основном, борьба за мировоззрение, это путь к освоению очень сложной и очень важной механики общественных процессов. И именно в этом плане автор допустил одну очень крупную ошибку: К е л ь б е р г с о в е р ш е н н о и з о л и р о в а н

от своей общественной среды. Со стороны на Кельберга нет никакого идеологического воздействия — ни отрицательного ни положительного. Кельберг варится все время в своем собственном соку. Противопоставление Кельбергу Пирри схематично, потому что Пирри абсолютно во всем — полная противоположность своего патрона. На пути своего нового становления у Кельберга нет почти никаких колебаний. Едва только начались сомнения, как кривая его роста пошла безостановочно вверх. Коллизии личных переживаний Кельберга тяготеют к переживаниям морального, психологического свойства, и недаром конечно автор на протяжении всей книги уделяет так много места внутренней борьбе Кельберга — его думам, его чувствам. Появившаяся у Кельберга критическая мысль, которая питается фактами и событиями политического порядка, остается, по сути дела, некритичной, поскольку либо сам Кельберг становится жертвой этих событий (история с котлом), либо сам, после ряда переживаний, приносит себя в жертву (расторжение контракта в Китае). Только в самом начале своих колебаний (по дороге в Шанхай) Кельберг пытается осознать события во всей сложности взаимодействия общественных явлений: он делает запись в тетрадь о национальной революции в Китае. Но вывод об общественной системе капитализма из этих политических событий им не сделан и будет сделан только после целого ряда событий, с которыми он опять-таки лично столкнется. Тут мораль, тут психология человеческого качества, — здесь основная ошибка автора.



Чувствуя и сам недостаточность такой трактовки перерождения Кельберга, автор коренной переворот в его мировоззрении относит к моменту знакомства с Марксом. И именно эти страницы — самые слабые страницы всей книги. Они слишком умозрительны, слишком надуманы. Мало того: самое перерождение Кельберга все-таки происходит только вдруг — на нескольких страницах книги, в которых описывается знакомство Кельберга с марксизмом. Кельберг все время остается человеком — вне его классовой принадлежности.

Однако, несмотря на отмеченную нами ошибку в трактовке основного образа книги, мы „Вступление" должны отнести к числу значительных достижений советской литературы. И идейная целенаправленность книги, и искренний, ничем не прикрашенный пафос в показе рабочего коллектива на нашей фабрике, и агитация за большевистский фронт в революционной борьбе немецких рабочих (образы Карла и Ганцке), и даже язык — живой и сочный — все говорит за это.

Читай в № 5-6 „БОРЬБА МИРОВ"

Оскар Граф — „Бездомный". Георгий Венус — „Их маршрут — Дрезден — Ленинград". Н. Вагнер — „Сегодня — 136". С. Безбородов — „Черный день". Н. Старов — „Комбинат". И. Рапский — „Честь фирмы". Н. Фельдман — „Повесть о мирном существовании деревни Кёри". Дм. Лебедев — „Утро в Поле". М. Бразуль — „Харп". С. Маршич — „Акционерное общество „Блау-Рейн". Иностранный юмор.

VII.

Много контор было в Гааге к услугам враждующих стран. И одна из контор принадлежала молодому и сильному человеку, Людвигу Сторенховену. До войны Людвиг Сторенховен принадлежал к тем конторщикам, которые мечтали о велосипеде в рассрочку. В войну ему уже хотелось большего. На третий год войны случай свел его с Гроксом. Гроксу очень понравились этот просительный взгляд, настойчиво ищущий твоего, взгляд, который нельзя было смутить даже крепким ударом кулака, эта сдержанная решимость запустить обе руки в золотой поток, омывавший Голландию, и безусловная, хотя и сидевшая на привязи, смелость. Кроме того, Гроксу понравились те сведения, которые он получил о Людвиге Сторенховене из безусловно надежного источника.

И выбор пал на Людвига Сторенховена, гражданина Гааги, 29 лет. И Людвиг Сторенховен открыл контору по торговле льном и сгущенным молоком. И Людвиг Сторенховен не торговал ни льном ни сгущенным молоком. Но зато он умел переправлять по адресу „Пирсон-лимитед в Лондоне" те грузы, о которых никто не должен был знать. И Людвиг Сторенховен уверенно приближался ко второму миллиону гульденов.

В те дни, когда церемониймейстер барон Гораций Дроон готовился к трудному приему послов враждующих стран, Кюнцель слез с чемоданом в Гааге. Он скоро нашел контору Сторенховена и рассказал господину Сторенховену, что приехал по делу о поставке трубок для сепараторов. И Сторенховен не моргнул глазом, ибо он был осведомлен, что перед ним сидит человек, который дальше сепараторов ничего не должен знать, что самому Рундфишу встречаться с ним — со Сторенховеном — нельзя. И Людвиг Сторенховен учтиво, но с солидным достоинством дельца, который говорит с агентом другой фирмы, сказал, что формальности займут дня три, но особых хлопот не предвидится.

Эти три дня Кюнцель ходил по Гааге почти без дела, а ему это было неприятно, хотя впервые за эти годы он ел вволю. Он не мог отделаться от мысли, что он тратит служебные дни почти попусту. Скорбь его стала спокойнее, только при виде множества этих цветущих юношей, которых почти не осталось на родине. Они напоминали ему о судьбе Гуго, о его старческом одиночестве. И он думал о том, что чужая рука закроет ему — старику — глаза, и что Гуго глаз никто не закрывал, и что пуля пришлась на то самое место, где были эти смешные родинки, и что Эмми умерла, так и не поверив, что Гуго не вернется. Кюнцель ходил вдоль незнакомых улиц, вдоль замерзших каналов, вслушивался в незнакомые слова, упрекая себя за то, что часто лакомится кофе со сливками, которого давно не видал на родине, и ждал отъезда.

Вечером, когда Кюнцель возвращался к себе в гостиницу, из тумана вышла непонятная фигура и кто-то схватил его за рукав. Кюнцель отдернул руку. Слабый свет пробивающего туман фонаря упал на лицо человека, и человек стал мучительно знакомым. Кюнцель отшатнулся. Эрих!

Перед ним стоял Эрих, или тень Эриха, худая, голодная, оборванная, давно не мытая. И Кюнцель и тень заговорили шопотом. Кюнцель задыхался от неожиданно нахлынувшего гнева.

— Гуго там... зарыт... Умер, как герой. А ты дезертир, подлый трус. Так вот что значило „пропал без вести". Бежал? И ты не стыдишься глядеть мне в глаза? Тогда ты бросил пиркуль, теперь винтовку... Спасаешь шкуру!

Эрих говорил глухо. Он хватал дядю за руку, но старик вырывал руку и бил Эриха самыми жестокими словами, не слушая того, что говорил ему Эрих. Так они стояли долго, и каждый говорил о своем.

— Ты изменник, Эрих! Зачем я взял тогда тебя к себе. Ты предал родину и Гуго. Милли жила преступной, ты умрешь, как негодяй. Я отказываюсь от тебя, Эрих. Пусти меня, или я позову людей.

Тогда Эрих отступил, глубоко вздохнул и сказал совсем спокойно:

— Если бы ты знал, что я знаю... Мне жаль тебя,—и, пошатываясь, скрылся за углом.

Жалкий трус! Что он мог знать? Хвастун! Что он мог сказать? На другой день Кюнцель уехал. Но когда поезд шел к германской границе, он не мог все-таки удержаться, чтобы не подумать, правильно ли он сделал, что не дал на хлеб голодному сыну бедной, грешной Милли. И Кюнцель решил, что теперь нужна твердость, как никогда, и что он не должен был дать Эриху и медного гроша. Твердость, как никогда! И пусть подыхают все изменники родины от пули в спину или от голода.

Отлучка показалась Кюнцелю долгой. В городе за это время ничего не произошло. Только вот убрали деревянную статую фельдмаршала, убрали инвалида франко-прусской войны и павильон с оркестром. Золотой гвоздь, который Кюнцель забил в сапог фельдмаршалу (гвозди так и не поднялись выше сапог) — был последним. И теперь желчные люди не стеснялись громко говорить о том, что победа придет тогда, когда фельдмаршалу забьют последний гвоздь в голову.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Шли поезда с запада и востока. Из них на холодные, неприветливые, сильно состарившиеся за четыре года вокзалы вываливались тысячи

ВО „БЛАУ-РЕЙН“

ПРОДОЛЖЕНИЕ
С. МАРВИЧ.
Рисунки И. ЕЦ

окончивших войну солдат. Поезд с запада не привез Гуго. Об Эрихе Кюнцель никогда не думал.

Войны больше нет. И нет победы. И не расступаются перед офицером на тротуаре. Впрочем и офицеров нет. По улицам ходили солдаты с красными розетками на изношенных шинелях, рабочие с красными знаменами, — и офицеры прятались от них. Мир был не тот, о котором столько лет под ряд читал в своей газете Кюнцель. Совсем не тот мир, о котором говорили кайзер и господин Конрад фон Блау.

Германский главнокомандующий сказал германской мирной делегации, что надо добиться хотя бы каких-нибудь уступок от победившего врага. В салон-вагоне по другую сторону фронта германские делегаты, которые ничего не добились, сказали, что условия перемирия очень тяжелы, но германский народ их выполнит. На это французский главнокомандующий коротко сказал: „Ладно“.

Победители обещали дать побежденному врагу хлеба, мяса и еще чего-нибудь, как только окажется возможным. Но шли долгие, тяжелые дни, а обещанной возможности победитель не видел. Мир не покончил с голодом. И в родном городе Кюнцеля банка сгущенного молока была такой роскошной редкостью, что французский офицер купил за нее честь семьи, которая жила этажом выше Кюнцеля.

В те дни Кюнцель много размышлял о мире и голоде. Думал он о том, надо ли при встречах продолжать здороваться с семьей, которая жила этажом выше Потом он думал, есть ли цель в том, что он ест недоваренную брюкву и колбасу из прессованной зелени. Раньше Кюнцель знал, для чего он твердо следует правилам поведения мирного жителя в военное время, знал, почему он должен подчиняться инструкциям о питании, разработанным для патриотов генералами и профессорами. Делалось это для того же, для чего сложил голову Гуго, единственный сын. Хорошо. А теперь — мир, и та же брюква и тот же сироп из ежевики вместо сахара. Должен Кюнцель теперь учить соседей экономии газа при варке брюквы или не должен?

Надвинулись другие нежданные события. Да, да, вот эти французские офицеры... Литых рядов германской армии больше не было. Последние поезда развезли по разным местам уцелевших германских солдат. И скоро в город прогромыхали французские танки и в полном боевом порядке вступили французские войска. На берегу Рейна были расставлены пушки, и жерла их предостерегающе глядели вглубь Германии.

Французские офицеры ходили по городу так, словно вокруг них двигались люди, имеющие самые сомнительные права на существование. И перед французскими офицерами поспешно расступались, и солнце подчеркнуто играло на их свежих крагах. На площадке трамвая подслеповатый учитель с кипой ученических тетрадей под мышкой толкнул лейтенанта и пробормотал по-французски извинение. И лейтенант на это ответил:

— Мне не нужно твое извинение, свинья! Вон из вагона, немецкая глиста!

И лейтенант велел кондуктору остановить вагон и подождать его. Он вышел вслед за учителем и холодно бил его стеком по лицу. И все молча глядели на это полуопущенными глазами. Лейтенант сел в вагон и велел ехать дальше. И учитель, согнувшись, глядел вслед уходившему трамваю, и кровь капала на рассыпавшиеся тетради.

На другой день французский комендант города издал приказ, в котором он короткими и энергичными выражениями обещал неприкосновенность только тем жителям, которые будут относиться с должным уважением к французскому мундиру.

Три крепких французских генерала с седыми висками и один полковник, глядя прямо перед собой, убирая одними глазами встретившиеся по дороге человеческие фигуры, прошли в кабинет господина Конрада фон Блау. И вскоре стало ужасно тихо. Кюнцель явственно ощущал, как проступает у него на лбу холодный пот.

Через полчаса отворились двойные двери кабинета господина Конрада фон Блау, и на пороге показались три французских генерала, один полковник и сам господин Конрад фон Блау. Они обменялись рукопожатиями. Господин Конрад фон Блау держал в левой руке сложенный вчетверо лист бумаги. Все были спокойны. И господин Конрад фон Блау также был совершенно спокоен, только на щеке колыхался желвак, как мячик на тихой воде.

На другой день рано утром батальон французских саперов занял завод. На двух автомобилях приехала комиссия из генералов и штатских. Самым старшим по положению из всех сидевших в обоих автомобилях оказался высокий старик в котелке и белых гетрах. Пройдя через заводские ворота, он слегка прищурился и сказал:

— Так вот где готовили нам разгром!

Генералы выразили почтительное одобрение шутке тем, что разом поднесли лайковую перчатку к кончикам усов.

Министр иностранных дел, аристократ, переставший быть верноподданным в тот самый день, когда кайзер, прячась от истории, перебежал границу, дипломат, бывший впоследствии послом в Москве, сказал Учредительному собранию, что не поставит свою подпись под договором, который обрекает Германию на столетнее рабство, и вышел в сад отдышаться. Подписывать договор поехал в Версаль очкастый социал-демократ, бывший впоследствии при президенте фельдмаршалом и умерший вскоре после отставки. И социал-демократ подписал

все, что приказали ему победители. Он подписал, что двести тысяч коров отказывают в молоке германским детям и навсегда уходят во Францию. Он согласился с тем, что отныне каждый германский ребенок рождается с долгом в десять тысяч марок, которые он всю жизнь будет выплачивать победителям. Он не возражал против того, чтобы были снесены все германские крепости, которые закрывали французским полкам гладкий путь на Берлин.

Согласно этому же договору саперы начали вывозить с завода „Блау Рейн" орудия. Взрывали отдельно тела орудий и замки. За несколько дней выросли высокие горы приведенных в негодность пулеметов. Офицеры составили опись в нескольких толстых тетрадях. На это ушло две недели. Когда завод был очищен от пушек и пулеметов, не успевших вступить в войну, комиссия взялась за цехи. Станки переводились на мирную работу, а те, которые не могли быть к этому приспособлены, грузились на платформы и уходили во Францию. Через месяц комиссия и господин Конрад фон Блау подписали акт о том, что завод „Блау-Рейн" навсегда перестал быть военным заводом.

Вскоре после отъезда французских генералов Кюнцеля позвали в кабинет господина Конрада фон Блау. Там же сидел господин Рундфиш. Господин Конрад фон Блау показался Кюнцелю похудевшим и озабоченным. Он пригласил Кюнцеля сесть.

— Так вот, господин Кюнцель, вы потеряли сына и жену. Я потерял право поставлять Германии пушки. Германия потеряла колонии и славу. Принесенные нами жертвы оказались ни к чему.

— Да, господин фон Блау, — вполголоса почтительно подтвердил Кюнцель.

— Но надо работать, господин Кюнцель. Может быть будущее обойдется с нами милостивее. Займемся другими делами. Счет негласных расходов, господин Кюнцель, который вы так аккуратно вели столько лет, никому не разглашая секрета, — мы об этом знаем, — больше не нужен. Передайте все эти документы господину Рундфишу. Мы вам дадим другую работу. Конечно, время тяжелое. Германия не сумеет прокормить всех немцев. Нам придется отпустить многих сотрудников, но таких преданных сотрудников, как вы, правление не забывает.

После работы, когда все сотрудники ушли, Кюнцель извлек из потайного ящика секретную папку, лежавшую там десять... нет, двенадцать лет. Повинуясь какому-то непонятному чувству, Кюнцель стал просматривать эти записи, содержание которых знали только господин Конрад фон Блау, господин Рундфиш и он, бухгалтер Кюнцель.

Настоящие слезы капали по лицу доктора Крогиуса

Вот она — запись негласных расходов от 12 апреля 1909 года: „Делопроизводителю второго отделения военного министерства Кноцеку дано 30 марок. Чертежник интендантства Мунк получил 100 марок. Курьер интендантства Дрейзенштох получил 10 марок. Чиновнику С. (полного имени Кюнцель не знал) было передано 500 марок".

В конторе было совсем тихо. Лишь с конца коридора доносились медленные шаги старого служителя, который передвигал по полу ручной пылесос. Волнующие нелепые мысли нахлынули на Кюнцеля. 12 апреля 1909 года. Гуго в это время было, значит, четырнадцать лет. У него ломался голос. Кажется, в эти дни Эрих пришел однажды домой с рассеченной губой и ни за что не хотел рассказать, как это случилось. И вдруг Кюнцелю захотелось знать, а что стало с делопроизводителем Кноцеком? На тридцать марок вероятно он купил сервиз и новую скатерть с бахромой. А как он жил потом? Где он теперь? Есть ли у него сыновья? Вернулись ли они с войны?

Чертежник Мунк, должно быть купил велосипед, курьер Дрейзенштох снес десять марок в сберегательную кассу, а чиновник С., должно быть, поехал с женой на взморье, — чиновники это любили.

Где они все теперь? А что, если бы совсем не жил на свете чиновник С. и не было бы военного министерства, и не работал бы пушечный цех, и значит не было бы войны?

Гуго было бы теперь двадцать пять лет. Прекрасная пора жизни...

— Замечтались, господин Кюнцель? Это на вас не похоже, — господин Рундфиш добродушно посмеивался, стоя сзади.

— Воспоминания, господин Рундфиш... — Кюнцель был смущен. — Столько лет!..

— Я вас понимаю. Вот именно, столько лет. Документы подобраны?— И господин Рундфиш навсегда унес папку со счетами негласных расходов, которые столько лет хранились у Кюнцеля.

Потом Кюнцель записался в „Общество матерей и отцов павших героев". Общество собиралось по пятницам. Доктор богословия Крогиус, в прошлом баварский придворный проповедник, внушительного вида старик, играл на фисгармонии хоралы и потом говорил речь. И всегда в определенную минуту, после определенного евангельского текста о надеждах страждущих, настоящие слезы стекали по лицу доктора Крогиуса, а собравшиеся прятали глаза в носовой платок. Кюнцель также прятал глаза в носовой платок, но все же он чувствовал, что страшная потеря терзает его уже не с прежней силой, и говорил себе, что годы и равнодушие холодной старости берут свое. Однако собрания общества он посещал аккуратно.

II

В приемной господина Конрада фон Блау висели на прежних местах картины, которые рассказывали о столетней жизни завода. Но сама великая история завода оборвалась. Не было больше пушечных цехов, не лили больше брони, не нужна стала гостиница для иностранных заказчиков.

Комиссия — но уже своя, заводская — обошла цехи и мастерские и записала все то, что согласился оставить победитель акционерному обществу „Блау-Рейн". Кюнцель ходил с этой комиссией и подписывал акты. Завод начал делать жнейки и молотилки. Станки, которые ковали оружие германской армии, занялись теперь автоматическими лейками. Народился автомобильный цех. Господин Кольгрубер скучал на виду у всех и даже говорил, что по существу все эти дела не по нем, потому что его дело — орудийная сталь. Жнейки и автомобили и автоматические лейки получались дешевле, чем делал победитель, но дорога за океан, за горы был им преграждена. Завод съежился. Уже не десятки тысяч рабочих номерков висели на табельных досках, а только полдесятка тысяч. Наполовину опустела контора. И акционеры получили так мало, что на годовом собрании открыто выразили свое возмущение. По адресу правления раздались горькие слова, и господин фон Блау должен был защищаться. Он напомнил собравшимся, что много лет под ряд правление выплачивало уважаемым акционерам больше, чем подсказывали им самые радужные надежды. Потом господин Конрад фон Блау стал говорить о причинах, которые так неблагоприятно повлияли на доходы уважаемых акционеров. На каждой причине он загибал палец.

— Лучшие наши руды отошли к Франции. Повсюду в Европе стоят, как крепостные стены, таможенные барьеры. Долгосрочных кредитов нам не дают. И у нас нет ни возможности перешагнуть барьеры, ни средств для того, чтобы расширить производство, ни прежних рудников. Моя совесть спокойна, — причины сильнее моего опыта, сильнее моего искреннего желания обеспечить уважаемых акционеров достойной прибылью. Если среди уважаемых акционеров найдется человек, который будет сильнее этих причин, я охотно уступлю ему мое место председателя.

Господин Конрад фон Блау сделал долгую паузу. Нет, лица акционеров не говорили о том, что они найдут человека сильнее господина Конрада фон Блау. Акционеры молчали, только один из них — толстяк с багровой шеей — возмущенно отдувался:

— Не получить и четырех процентов? Чудовищно! Неслыханно!

Все пальцы Конрада фон Блау были уже загнуты, когда он перешел к главным причинам.

— И при этих обстоятельствах, — его голос стал уверенней, он уже не делал пауз, — германские промышленники должны платить большую дань идеалам господ социалистов. Эта дань висит камнем на шее у германской промышленности. Заработная плата выше, чем позволяют возможности разоренной Германии. Германия может прокормить работой не больше пятидесяти миллионов человек, а у нее почти семдесять миллионов. Нам надо вырваться на мировой рынок, мы должны работать дешево, чтобы быть в силах конкурировать с победившим врагом. А мы тратимся на страхование рабочих, мы не просто нанимаем рабочего, а должны заключить договор с профессиональным союзом. Правительство должно понять, наконец, что эта социалистическая роскошь нам не ко двору.

Молчание акционеров прорвалось в бурное одобрение. Толстяк с багровой шеей бросился жать руки господину Конраду фон Блау.

— Вы тысячу раз правы,—говорил он отдуваясь. — Пора бросить эти детские игрушки! Страхование. Профессиональный союз. Меньше четырех процентов на капитал. С ума сойти! Нет, пусть правительство освободит нас от этих дурацких обязанностей.. или я пошлю мои деньги на Балканы. Да... в Румынию. Я получу свое.

Собрание закончилось резолюцией о том, что накладные расходы промышленности слишком высоки и тормозят деловую жизнь. Собрание предлагало правительству срочно просмотреть и отменить соответствующие законы. Резолюция была принята единогласно, только толстяк с багровой шеей настаивал на более энергичных выражениях.

Еще месяц, другой делал завод свои сеялки, автоматические лейки. Попрежнему скучал господин Кольгрубер, и молодой французский инженер, пренеприятный шутник поставленный комиссией для постоянного наблюдения, не делает ли завод тайком оружие, захаживал в цех и, указывая на груды никкелированных цепочек для собак, спрашивал: „Это не пулемет, нет?" Инженеры сдержанно отмалчивались, но француз продолжал подшучивать. Он не постеснялся даже однажны при самом господине Конраде фон Блау, повертев в руках детский совок из отходов металла, сказать:

— Се есть смирный потомок Берты.[1]

Это было сказано громко, и у господина Конрада фон Блау запрыгал желвак на правой щеке. После этого господин Конрад фон Блау стал избегать встреч с французом. Потом он уехал лечиться в столицу, вернулся, заметно посвежев, и на второй же день его приезда во всех цехах появились извещения о том, что впредь до лучшей конъюнктуры заработная плата снижается на одну десятую. Назавтра доктор Нуэль, самый старший из местных социал-демократов, поместил в газете статью, в которой черным по белому доказал, что рабочие должны принести эти жертву. Доктор Нуэль просил их сохранить выдержку и спокойствие, а не итти за опасными агитаторами, Но статья не помогла. Сразу стали все цехи. Доктор Нуэль, рискуя своим достоинством, отправился, как тогда во время войны, на тот берег реки предлагать свое посредничество, но посредничество не было принято. Завод стоял два месяца. Контора, конечно, вся собиралась аккуратно в положенный час, но делать ей было нечего.

Однажды утром молодой французский инженер пришел к господину Конраду фон Блау. Он был хмур и не шутил, как обычно. Сев в предложенное ему кресло, инженер вынул из бокового кармана исписанный цифрами лист бумаги и заговорил очень сухо и официально. Французское правительство,--сказал он,--пошло навстречу Германии и согласилось на то, чтобы денежные платежи были частью заменены поставками машин, сырья, товаров. Завод „Блау Рейн“ не работает и не поставляет машин, которых требует восстановление разрушенного Германией севера Франции. Ему, французскому инженеру, представителю французской наблюдательной комиссии, поручено заявить правлению „Блау-Рейн“, что такое положение продолжаться не может.

— И что же дальше? — спросил господин Конрад фон Блау.

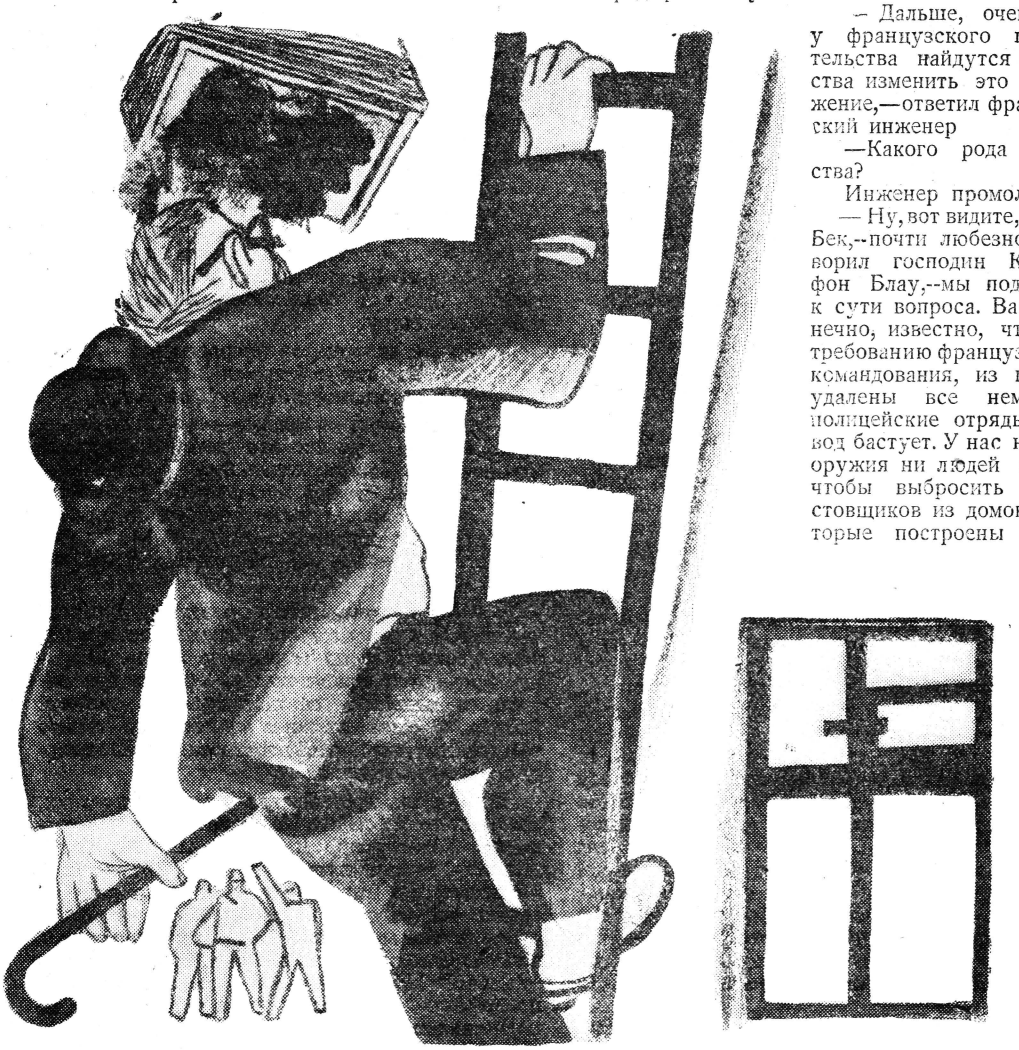
— Дальше, очевидно, у французского правительства найдутся средства изменить это положение,—ответил французский инженер

—Какого рода средства?

Инженер промолчал.

— Ну, вот видите, мосье Бек,--почти любезно заговорил господин Конрад фон Блау,--мы подходим к сути вопроса. Вам, конечно, известно, что, по требованию французского командования, из города удалены все немецкие полицейские отряды. Завод бастует. У нас нет ни оружия ни людей на то, чтобы выбросить забастовщиков из домов, которые построены нами.

[1] „Бертой“ было прозвано дальнобойное орудие, которым артиллерия германской армии обстреливала Париж на расстоянии ста двадцати километров.



На голову магистра сбрасываются ящики с землей, но без цветов...

Забастовщиков, избитых прикладами, истерзанных дюжей хваткой мордастых полицейских, отволят в казарму...

В прежние времена нам это удавалось в несколько часов. Если я восстановлю работу, кто будет разгонять пикеты забастовщиков? Кто будет следить за ними?

— Частности нас не интересуют, — сказал инженер. — Устраивайтесь как хотите.

— Это не частности, еще более любезно продолжал господин Конрад фон Блау. — Вы занимались шутками, мосье Бек, не всегда уместными шутками, и не заметили главного. Кто сломит упорство забастовщиков? Вы можете прислать ваших солдат, но они ненадежны в этих делах. Не забывайте, что это ребята, прошедшие войну и задержанные в армии. Не думаю, чтобы у них было очень бодрое настроение, и уверен, что у забастовщиков найдутся подходящие для них слова. Ведь даже во Франции остерегаются пользоваться для этих дел солдатами. Нет, с полицией надежнее, мосье Бек! Вы знаете, посредничество доктора Нуэля отвергнуто. Мы также отказались от посредничества, но задним числом, дождавшись ответа забастовщиков. Мы пошли на эту формальность для того, чтобы подчеркнуть нашу решимость. Стачкой руководит наш рабочий Глокнер, коммунист, о котором теперь по городу столько рассказов. Стачку надо раздавить, но для этого нужна немецкая полиция, нужно оружие моим людям. Пропустите к нам полицейские отряды и оружие, и я вам гарантирую машины в срок.

— Такие вопросы не входят в круг моих полномочий, — сказал французский инженер.

— Я в этом и не сомневался. Можете итти, молодой человек!

— Вы сказали... — Инженер возбужденно вскочил.

— Я еще не все сказал, — господин Конрад фон Блау совсем развеселился. — Я уже получил такое разрешение от вашего командующего армией. Полицейские отряды и оружие будут не позднее, чем через два дня. Можете донести по начальству, что председатель правления акционерного общества „Блау-Рейн“ предвидел запрос и предупредил неприятные события. Можете также написать, чтобы вас заменили более дальновидным и более тактичным представителем. Впрочем я и об этом уже переговорил с командующим вашей армией. Очень любезный и воспитанный человек. Он выразил мне сожаление по поводу того, что вы вели себя недостойным образом. Я вас не задерживаю, молодой человек.

В этот же вечер мосье Бек уехал, ни с кем не простившись.

III

Пришли полицейские отряды, пришло оружие. Оружие было роздано внушавшим доверие молодым людям. Собрал этих людей магистр философии, офицер в отставке, постоянный распорядитель танцев на балах самой уважаемой части общества. Эти дни окончательно определили судьбу магистра философии. Возвращаться к философии он после войны не хотел, ибо философы голодали. Военная карьера была невозможна. Руководство танцами не давало опоры в жизни. И тут, в самый подходящий момент, перед магистром философии открылась карьера политическая, и он ринулся в нее, как застоявшийся, но не зажиревший конь.

Каждый день он выводил за город свой отряд, состоявший из рыночных торговцев, почтовых служащих, мясников, домовладельцев. Ему казалось, что он ведет за собой не две сотни человек, а целую армию, и магистр с удовольствием прислушивался к своему голосу, который четко выговаривал короткие слова команды. И вот наконец его армия получила самые настоящие винтовки и к ним самые настоящие патроны.

Магистр философии в полчаса мобилизовал свой отряд и повел его следом за полицейским отрядом на тот берег реки — громить изменников и водворять порядок.

У того берега было всего несколько револьверов и винтовок, и все же поход никак не был похож на триумфальный марш.

Нет, это был бой, упорный, жестокий и долгий. Отряду магистра философии показалось, что квартал из белых одинаковых домиков вызвал себе в союзники какие-то неведомые, сверхъестественные силы. Разве так дерутся те, у кого в руках ничего нет? Едва загремели первые выстрелы и рассыпалась по улице первая цепь, как оказалось, что каждый домик стал ощетинившейся крепостью, а эту крепость надо было брать с боя. Дважды водил магистр философии свой, насквозь пропотевший от усилий' отряд—и дважды отступал. Нет, этому невозможно поверить. На той стороне дрались женщины, старики, больные, дрались подростки. В отряд магистра философии летели камни. На окнах стояли горшки с кипящей водой.

Глокнер должен быть вот в этом доме... Об этом разнюхали. Магистр захватит его живьем и приведет на аркане в город. Он поставит его на площадь, как трофей. В доме не осталось ни одного целого окна. Магистр велит принести лестницу. Он полезет первый во второй этаж. Дом замер. Глокнер вероятно прячется где-нибудь в чулане. Приносят лестницу, и едва магистр заносит ногу, как сверху на голову ему обрушивают цветочные ящики с землей, но без цветов. Магистр выбывает из строя. Врач кладет ему на голову временную повязку. Исход боя решает полиция. Она выламывает прикладами двери домов и выволакивает на улицу забастовщиков и их семьи до последнего человека.

Избитых прикладами, истерзанных дюжей хваткой мордастых полицейских отводят в казарму, которую когда-то занимал кавалерийский полк, — и там до ночи болтается желтый свет в окне и слышно, как гремит один и тот же вопрос;

— Где Глокнер?

И слышны ругательства и удары.

Глокнер переходил из дома в дом, но на рассвете его схватили. Избитого до потери сознания, его связали по рукам и ногам и впихнули в трясучую фуру. Не покончили с ним на месте потому, что был строгий приказ доставить его живым, и больше всего потому, что за это была обещана награда.

Разбитыми окнами, выломанными дверями, истоптанными палисадниками зиял квартал того берега. По кварталу шныряли агенты акционерного общества „Блау-Рейн“ — все словно сделанные по одному образцу, одинакового роста, с одинаковыми усами, в одинаковых пиджаках. Они вручали жильцам одинаковые повестки о том, что предписывается немедленно освободить дом. Когда прошел срок, через мост поехали на тот берег фургоны. Дюжие парни, набранные, как потом оказалось, магистром философии Вандерфельдом в окрестных деревнях, врывались в дома, тащили оттуда мебель и вещи и бросали их в фургоны. Все это свозилось на двор полицейского участка. Владельцы имущества могли явиться туда и, заплатив штраф за ослушание закона, забирать вещи.

Через неделю цехи стали работать. Французская комиссия прислала другого военного инженера. Он был очень предупредителен, и у господина Конрада фон Блау перестал прыгать желвак на щеке. Его часто видели любезно беседующим с новым инженером-наблюдателем. Еще чаще видели с новым французом молодого Теодора фон Блау. Француз был отличный теннисист, и на этом они близко сошлись с молодым Теодором. Они бросали в машину ракеты, сетку с мячами и мчались состязаться в загородный клуб. Выходя из автомобиля, француз обратил однажды внимание на розетку в петлице Теодора. Теодор объяснил, что это — значок общества пангерманцев. [1]

* * *

Зима была жестокой. Налетали давно невиданные, давно забытые мятели. Они закружили город в снежном смерче, залепляли глаза, лысые бюргеры бегали с палкой наперевес за шляпами. Мерзли до костей в домах на том берегу, где было слишком мало угля и газа. Мерзли охранявшие город сенегальские стрелки. Французское командование расщедрилось выдавать сенегальцам удвоенную порцию рома, но это не заменяло им климата родины и не спасало их от болезней.

Из-за мятели сбился с пути неизвестный человек. Он шел с тяжело нагруженным возом и по ошибке взял другую дорогу. При въезде в город он показался подозрительным часовому сенегальцу, который приказал ему остановиться и отвел вместе с возом к коменданту. На возу нашли несколько десятков револьверов, патроны и разобранный пулемет. Тогда офицер начал бить его револьвером по грудобрюшной пре-

[1]) Крайняя шовинистическая организация крупной буржуазии, пропагандирующая лишение всех гражданских прав народов не-германского происхождения, населяющих Германию, запрещение смешанных браков и т. д. До войны была носительницей самых необузданных империалистических планов. После войны мечтает о реванше с Францией.

граде, и неизвестный стал известным. Но то, что он рассказал, изумляло и даже смущало офицера. Офицер перестал его бить и распорядился принести ему горячего кофе, потому что арестованный продрог. Потом офицер писал рапорт, и лицо его говорило о том, что он имеет дело с крайне сложным случаем. На утро офицера вызвали в штаб, и плотный полковник отчитывал его, как мальчишку. Офицер говорил, что у него не было инструкций и он не знал, как поступить.

— Инструкций?—с бесконечным презрением говорил полковник — Только безнадежный тупица может думать, что можно предусмотреть инструкциями все случаи на земле. Не инструкции, а сообразительность. Без нее и капрал — не капрал, не то что офицер. Вы должны были прежде всего удалить из комнаты других задержанных. Вы по внешним признакам могли видеть, что перед вами особый случай. Этот дурак из-за мятели напоролся на вашу заставу, и вы ему развязали язык при других арестованных. Понимаете ли вы, растяпа, что это провал? Немецкие газеты напишут об этом. Что теперь делать?

— Но зачем же он тогда развязал язык, господин полковник?

— Давно вы родились, господин лейтенант? Если вас бить револьвером по грудобрюшной преграде, так вы расскажете о себе то, чего и сами не знаете. Скандал! Дикий случай!

Неизвестный человек оказался сепаратистом и оружие он вез для сепаратистов. [1] В один и тот же день в нескольких городах сепаратисты с оружием в руках должны были перед лицом всего мира сказать, что города навсегда выделяются из Германии в самостоятельное государство и просят Берлин не беспоиться больше об их судьбе. Они должны были потрясать вот этими самыми револьверами и везти перед собой вот этот самый пулемет. Событие пришлось отложить. Опасения полковника оправдались. Немецкие газеты много писали о случае у заставы. Но еще больше шума, острых разговоров, возбуждения принес номер коммунистической газеты со статьей о дружбе и одном общем деле молодого военного инженера-француза и Теодора фон Блау. Стало известно, что они играют вместе не только в теннис, но и в новое государство. Молодой Теодор фон Блау ездил в Париж, и там состоялась его встреча с дирекцией тех заводов, которые жгли германский уголь. Шахты стояли,—таков приказ Берлина. Берлин ожидал, что если шахты будут стоять, рудники будут стоять, французские войска повернут обратно во Францию. Берлин платил за эту остановку, и германское казначейство изнывало от этих расходов и на один доллар давали сначала тысячу, потом миллион.

Правительство Берлина вознаграждало королей германского железа и угля. Оно платило им за то, что стояли их рудники и шахты, платило марками, но короли рудников и шахт без всякого промедления посылали молчаливых агентов на биржу обращать марки в доллары, и благодаря такому спросу за доллар платили уже не миллион, а миллиард марок. Не было такого дома в Германии, где не говорили бы об этом. Доллар был гранитным берегом, от которого дальше и дальше в неведомую пучину вод уходила утлая ладья германской марки. Жила надежда, что ладья остановится в опасном беге, что завтра она будет стоять на сегодняшнем месте — на одном миллиарде бумажных марок за доллар. Но короли железа и угля твердо знали, что ладья остановится не скоро, и потому охотно покупали всякую всячину — дома, фабрики, театры, жмыхи, инкубаторы. Договоры они заключали в германских марках с оплатой через три месяца, и через три месяца оказывалось, что электростанция, театр, жмыхи куплены даром, — так далеко успела откатиться бумажная, ничем не защищенная марка.

Шахты стояли и стояли рудники, но все-таки французские полки и танки не поворачивали обратно. Целыми поездами выписывали на эти шахты поляков и итальянцев, а дело не двигалось с места или двигалось так, что мало радовало французских генералов. Тогда Теодор фон Блау поехал в Париж и долго говорил с влиятельными директорами влиятельных заводов. Что обещали директора Теодору фон Блау— в точности осталось неизвестным, но что-то очевидно обещали, потому что Теодор фон Блау взял на себя большое дело. Если Берлин приказывает шахтам и рудникам не выпускать наружу ни угля ни руды, то надо обрубить канат между шахтами и Берлином. Пусть та земля, где проложена шахта, станет самостоятельным государством со своим флагом, со своими министрами--страной между Берлином и Парижем; тогда Берлин ничего не сумеет ей приказать, тогда будут и руда и уголь.

Теодор фон Блау взялся подыскать людей, много таких людей, которые с оружием в руках скажут Берлину, что он им больше не родина. Собирать людей и убеждать их Теодор фон Блау мог только невидимо для всех, поэтому он носил в петлице пиджака розетку пангерманца, а пангерманцы стояли за великую, единую, сильную, возрожденную Германию, диктующую свою волю другим странам.

В большом и осторожном деле военный инженер-француз помогал молодому Теодору фон Блау. Оба они писали письма в Париж, оба получали оттуда ответы. И неизвестный, задержанный часовым, вез сквозь вьюгу оружие по указанному Теодором адресу.

Обо всем этом писала газета, и ничему этому Кюнцель не верил. И он говорил, что это — чудовищная клевета, говорил от всего сердца и всем знакомым и незнакомым. Газету закрыли на месяц, и Кюнцель говорил, что это справедливо.

Газета стояла закрытой, когда судили Глокнера.

О Глокнере ходили легенды, когда стреляли в окна белых домов и выламывали окна из домов на том берегу. О Глокнере много писали газеты. О нем писали, что он привез из Москвы зашитые в подкладку пиджака крупные чеки на заграничные банки, что на эти чеки он должен в каждом городе вблизи французской границы динамитом взорвать шахты и железнодорожные мосты, что проездом через Берлин он вел роскошную жизнь.

---

[1] Во время оккупации Рура организовалось течение за отделение Рейнской области от Германии (сепаратизм). Французские власти негласно поддерживали это движение.

Все эти рассказы смущали Кюнцеля. Глокнер... Он помнит его. Он случайно знал его. Это было лет восемь тому назад осенью. Глокнер вез письмо и поклон от Гуго, он приехал на побывку с фронта. Немолодой уже и тогда, из старших военных призывов в армию. Помнится, был он сильный, коренастый и очень спокойный. Глокнер нагнал на него какую-то неуверенность. Кюнцель не знал, как с ним говорить. Привычные слова патриота застревали в горле,— Глокнер не слушал их. Отвечал он просто, словами, которые приводили Кюнцеля в недоумение.

— Ну, как наши герои, герр Глокнер? Выдерживают? А?

— Выдерживают, герр Концель. Кто не выдерживает, того отправляют в военную тюрьму или расстреливают на месте.

— Но настроение-то твердое?— ошарашенно спросил Кюнцель — Воодушевление?..

— Я называю это иначе, — перебил его Глокнер.

Кюнцель побоялся узнать, как называет это Глокнер. Все же перед уходом он спросил его в передней:

— А как по-вашему, к весне будет прорван фронт?

— Чей фронт, герр Кюнцель?

— Как--чей фронт? — Кюнцель отступил на шаг. — Противника, конечно, герр Глокнер.

— Ах, противника... Что тут скажешь? За каждый метр наступления мы платим тысячью трупов. Вопрос в том, хватит ли трупов или хватит ли у людей покорности становиться трупами? В этом все дело. Покорности вероятно не хватит, но где она окончится раньше, у нас или у противника, — трудно сказать.

Кюнцель ничего не нашелся сказать.

СТРОИМ САМОЛЕТ „ВОКРУГ СВЕТА“

В каждом номере нашего журнала, на каждой странице его мы рассказываем вам обо всем, что происходит в самом отдаленном углу Советского Союза.

И потом мы показываем вам, что сегодня — в дни величайшей стройки нашей страны — происходит там, — на Западе.

Мы водим вас кварталами нищеты и говорим:

— А теперь заглянем на „авеню“ и „штрассе“, где высятся роскошные особняки и проносятся блестящие автомобили.

Мы смотрим на измученные лица изголодавшихся людей — без работы, без крова, — и говорим:

— А теперь заглянем в роскошные рестораны на проспектах миллиардеров.

И потом мы вместе прислушиваемся к глухо доносящемуся грохоту японских снарядов, разрывающихся над китайскими лачугами.

И тогда мы вспоминаем: ВОЙНА.

Сегодня — она на Дальнем Востоке, завтра — она перенесется на весь мир.

Так будем укреплять свою страну еще крепче, еще серьезней. С каждым часом наша обороноспособность повышается.

— Товарищи читатели! Давайте построим свой самолет! Давайте с завтрашнего же дня собирать средства, мобилизуя друг друга, вкладывая еще одно сбережение в фонд обороны своей страны!

Шлите деньги на самолет на адрес редакции: Ленинград, просп. 25 Октября, д. 3

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда“. Сектор „Комсомольская правда“.
Отв. редактор **А. Поневежский.**
Зав. редакцией **И. Бражнин.** Руковод. оформлен. и технич. частью журнала **М. Поскутов.**

Ленгорлит № 48057. Ст.-ф. 72 × 110. Тираж 50.000. Печ. л. — 4. Заказ 5997.
Сдан в производство 2/IV Подписан к печати 2/VII. Количество знаков в листе 97.696.

Тип. им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.

Изд-во ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ Сектор „Комсом. Правда“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 год

НА ЖУРНАЛ

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“

Выходит ДВА раза в мес.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — руководящий политико-теоретический журнал ЦК ВЛКСМ. Рассчитан на руководящий актив союза.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — последовательно проводит генеральную линию партии, непримиримо борясь со всякими уклонами от ленинской линии и примиренчеством к ним в теории и практике, беспощадно разоблачая троцкистскую контрабанду и всякую фальсификацию и гнилой либерализм к ней.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — теоретически обобщает и разрабатывает злободневные проблемы комсомольского движения, связанные с вступлением СССР в период социализма и последний этап нэпа.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает вопросы союзного руководства, выдвижения и воспитания актива, марксистско-ленинского воспитания и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“—освещает узловые вопросы борьбы за металл, уголь, химию, социалистическую реконструкцию транспорта, электрификацию и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — дает развернутый руководящий материал по реализации решений XVII партконференции.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает вопросы теории советского хозяйства, планирования, организации труда, практики хозрасчета, социалистической рационализации и дает теоретическое освещение опыта социалистического переустройства деревни, практику колхозного и совхозного строительства.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает основные пути и проблемы техники и технической политики.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“—знакомит читателя с ленинским этапом в философии, экономике, литературе и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает международное рабочее движение, задачи Коминтерна и КИМ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 6 мес.—3 р., на 12 мес.—6 р.

Цена отдельного номера—25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтовых отделениях, у письмоносцев, ячейковых работников по печати.

ИЗД-СТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Каждый комсомолец, каждый молодой рабочий

ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ СВОЙ ЖУРНАЛ

СМЕНА

ОРГАН ЦК и МК ВЛКСМ

—— Выходит два раза в месяц ——

СМЕНА — массовый иллюстрированный, литературно-художественный, общественно-политический и бытовой журн. раб. молодежи.

Выходит 2 раза в месяц в увелич. объеме.

СМЕНА — показывает в строительстве социализма лучших ударников-комсомольцев и передовую рабочую молодежь.

СМЕНА — единственный в СССР журнал рабочей молодежи, специально посвященный вопросам социалистической реконструкции быта.

СМЕНА — освещает и ставит актуальные проблемы культуры и быта, связанные с ходом социалистической стройки. Из номера в номер дает в журнале постоянную бытовую консультацию. Ведет борьбу с классово-враждебными нам пережитками и течениями и вылазками на идеологическом, культурном и бытовом фронте.

СМЕНА — печатает лучшие рассказы, стихи и очерки пролетарских писателей и ударников, призванных в литературу. Откликается на злободневные вопросы литературной политики. Борется за проведение правильной партийной линии в художественной литературе.

СМЕНА — отображает классовую борьбу за быт рабочей молодежи в капиталистических странах и колониях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 м. — 50 к., на 3 м. — 1 р. 50 к., на 6 м. — 3 р., на 12 м. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, у письмоносцев и в ячейках ВЛКСМ у уполномоченных по печати.

Цена 50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА",
СЕКТОР КОМСОМОЛЬСКАЯ „ПРАВДА"

БОРЬБА МИРОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившиеся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризиса. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы растут новые города. Главная и основная задача журнала **„БОРЬБА МИРОВ"** — показать во весь рост эти две системы; показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола.

Латвийские палачи убили комсомольца Гедриса. Умирая, Гедрис сказал: „Убьют нас, но разве можно убить комсомол! За нами идут другие. С каждым днем нас все больше и больше. Наши силы растут".

Зарубежный комсомол, несмотря на жесточайший террор, ведет героическую революционную борьбу. Наша задача — показать зарубежный комсомол, его рост, его работу, его борьбу, его победы.

Журнал **„БОРЬБА МИРОВ"** должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ „БОРЬБА МИРОВ"

На 12 мес. — **5** руб. **40** коп
На 6 мес. — **2** руб. **70** коп.
На 3 мес. — **1** руб. **35** коп.
Цена отдельн. номера **50** к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды".